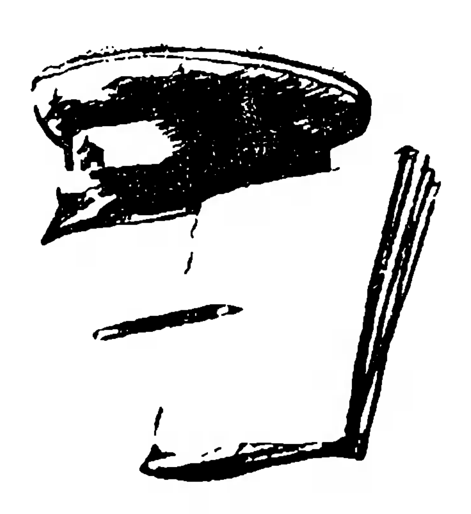
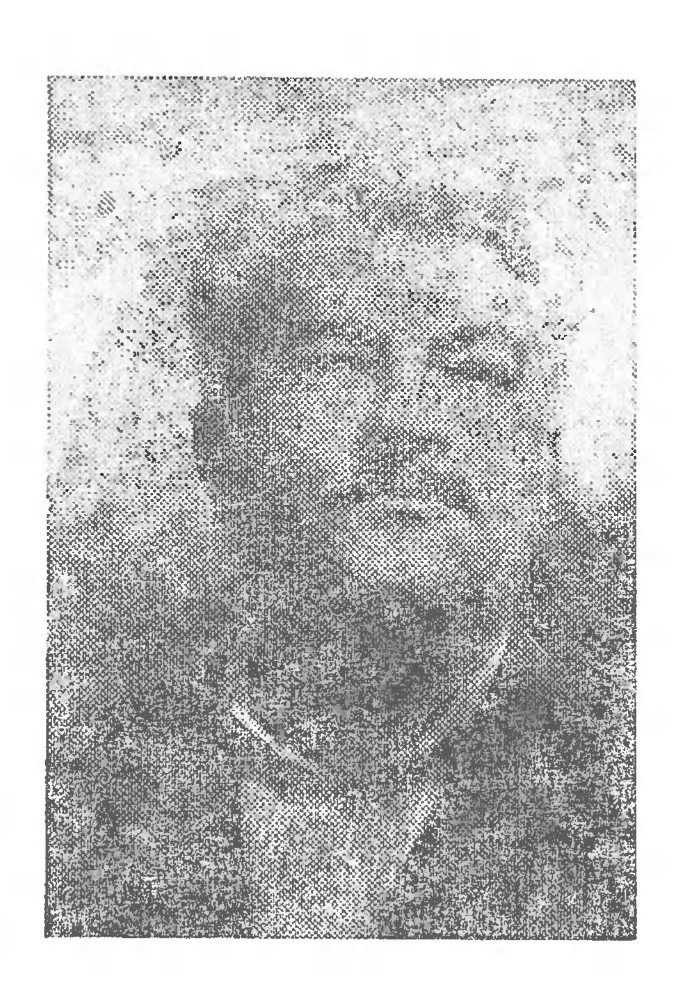


Б·ЗУБАВИН

ОПАЛЁННЫЕ ЗОРИ





Борис Зубавин заявил о себе в литературе рассказами на военные темы («Ты едешь в Осташков», «Труднее, чем нам», «Где у мальчишки дом?» и др), сразу же положительно отмеченными критикой.

В годы Великой Отечественной войны он был комиссаром, позднее командиром пулеметно-артиллерийской роты, начальником пограничной заставы, помощником начальника штаба пограничного полка, воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах, участвовал в штурме Кенигсберга, разгроме восточно-прусской группировки немецко-фашистских войск. В повести «Опаленные зори» много достоверного, увиденного и пережитого автором, фамилии многих героев сохранены полностью или изменены частично.

За четверть века литературной деятельности Б. Зубавиным выпущено тридцать пять различных сборников повестей и рассказов, среди которых преобладающее место занимают произведения о войне и послевоенной армейской жизни.

Библиотечка
журнала „Пограничник“
№ 2 (27) 1970 г.

Борис ЗУБАВИН

ОПАЛЕННЫЕ ЗОРИ

Записки офицера

Москва



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОЖИДАНИЕ

I

Наступление началось в феврале. Мы тронулись по сугробам в ватниках, полушубках, валенках, ушанках. По дороге все это сменили на шинели и сапоги и остановились только в конце апреля, когда все вокруг стало зеленеть и старшины поехали получать летнее обмундирование.

Наш отдельный пулеметно-артиллерийский батальон с ходу принял участок в 136-й дивизии, очень потрепанной во время этого долгого наступления. Мы тоже были потрепаны и на марше получили пополнение.

Я со своей ротой оказался в резерве и, когда заходил в штаб или на КП батальона, часто слышал разговоры о «Матвеевском яйце». Это

было самое неспокойное место на всем участке дивизии. Общая, довольно стройная линия переднего края здесь разрывалась и глубоко вдавалась во вражеские позиции. Две стрелковые роты, находившиеся там, обстреливались фашистами с трех сторон и днем и ночью. Из штаба то и дело звонили в третью роту и спрашивали:

— Как правый сосед? Как справа?

Немцы во что бы то ни стало хотели выровнять линию своей обороны, нам же нужно было сохранить эту вмятину как рубеж для будущих атак.

Уже началась подготовка нового наступления, и все с утра до утра следили за «Матвеевским яйцом». У нас в штабе только и слышалось:

— Смотрите направо! Больше смотрите направо!

И вот однажды ко мне пришел заместитель командира батальона майор Станкович и сказал:

— Вызывай офицеров. Я говору, — он был белорусом и вместо «ю» выговаривал «у», — я говору, теперь одна морока будет у нас с тобой.

Пришли лейтенанты Лемешко и Сомов, вслед за ними принес свою добрую застенчивую улыбку младший лейтенант Огнев. В углу землянки шумели, наседая на старшину роты, командир батареи Веселков и командир минометчиков Ростовцев. Позднее всех ввалился, на минуту заслонив собою всю дверь, мой заместитель по строевой — двадцатичетырехлетний богатырь старший лейтенант Макаров.

Перед тем как попасть к нам в батальон, Макаров летал на истребителе, был подбит, рухнул вместе с машиной на землю, но — счастливый случай! — остался жив и, пролежав полгода в госпитале, признанный врачебной комиссией негодным к дальнейшей службе в авиации, пришел к нам, в пехоту. Было это зимой. Он медведем влез в блиндаж, простецки улыбнулся, приложил руку к лихо сдвинутой набекрень ушанке, доложил:

— Старший лейтенант Макаров прибыл для дальнейшего прохождения службы! — И за один вечер, перезнакомился и подружился с офицерами...

— Все? — спросил Станкович.

— Все, — ответил я.

В землянке сразу стало тихо.

— Так вот, пошли принимать «Матвеевское яйцо»! — И, распахнув дверь, Станкович первым вышел на улицу.

По дороге нас встретил заместитель командира соседнего полка майор в щегольской фуражке защитного цвета, козырек которой был похож на утиный нос. Такие фуражки шили из старых гимнастерок портные полковых мастерских.

— Многовато, — сказал он, оглядев нас.

— Почему? — спросил я.

— Ну почему, — уклончиво отозвался он. — Ясно почему.

Мне ничего не было ясно.

— Ладно, там видно будет, — сказал я.

Скоро мы вышли в поле, на котором стояли три подбитых немецких танка. Впереди виднелся кустарник, несколько одиноких елок, а правее разлилось огромное болото, за которым стеной стоял лес...

— В этом лесу ваш правый сосед, — сказал майор.

Мы спустились в овраг. Я спросил, сколько отсюда будет до переднего края.

— Тысяча двести метров, — сказал майор. Он остановился, вынул из планшета карту и показал мне: — Вот овраг, а вот ваш передний край. Ровно тысяча двести метров.

— Ростовцев, — сказал я минометчику, — оставайтесь здесь.

Овраг скоро свернул в сторону, прямо к тем кустам с одинокими елками, и на полпути кончился широким лугом. Здесь, в конце оврага, был блиндаж, в котором жил резервный взвод автоматчиков. С правой стороны кустов, за болотом, на самом краю леса виднелись два немецких дзота. Вода сейчас подступала к амбразурам. В дзотах, казалось, никого не было. Слева, на гребне небольшого холма, торчали рогатки колючей проволоки.

— Здесь тебе тоже надо будет оставить резерв, — сказал Станкович.

Мы порешили на том, что поставим здесь взвод противотанковых пушек и два ручных пулемета. Слева по пашне и по лугу можно было ожидать танков.

— Так что же, всех берешь, капитан? — спросил майор.

— Всех, — сказал я.

— Ну смотри. Давай только рассредоточимся. — И, надвинув поплотнее фуражку, он побежал к кустам по лугу. И сейчас же просвистело несколько пуль. Майор, не обращая на них внимания, бежал по лугу, чуть пригнувшись и петляя.

— Пожалуй, не стоит всем, — задумчиво сказал Станкович, глядя вслед майору.

— Пожалуй, не стоит, — согласился я.

Мы оставили командиров взводов и побежали вслед за майором. Нас тоже обстреляли.

Майор сидел на краю оврага и счищал щепочкой грязь с сапог.

— Ну, как? — спросил он.

— Хорошее местечко, — сказал я, тяжело дыша.

— Куда уж лучше! — согласился он.

К нам поспешно подбежал старший лейтенант, одергивая на ходу довольно помятую и давно не стиранную гимнастерку, и доложил, что у него все благополучно. Лицо его было очень усталым, а глаза красные не то от дыма, не то от бессонных ночей. Я с некоторым сожалением и с той брезгливостью, которая всегда присуща чисто одетому человеку, рассматривал его грязные кирзовые сапоги, небритые щеки.

— Вот, — сказал ему майор, — сдавайте участок капитану.

— А я? — недоверчиво спросил тот.

— Пойдете на отдых.

— Так давайте, — нетерпеливо и приветливо обратился ко мне старший лейтенант.

Он сразу помолодел и стал стройнее, узнав, что пой-

дет со своей ротой в тыл и будет там отдыхать, и уже теперь он стал с сожалением рассматривать меня, в то же время как бы говоря глазами: «Поглядим, как ты будешь выглядеть здесь через недельку».

Сдавать ему, собственно, было нечего. Овраг, начинавшийся от болота, расходился дальше двумя рукавами наподобие клешни рака. Между клешнями рос кустарник. В оврагах, ничего не видя дальше десяти-пятнадцати метров, сидели стрелки и автоматчики. Землянки были низкие, сырые, тесные и никаких окопов, дзотов, проволочных заграждений.

— А там что? — ткнул я пальцем в сторону кустов.

— Мины, — сказал старший лейтенант.

— Покажите схему минных полей.

— Да там такие мины, — смутился он. — Мы сами их ставили, без плана. Гранаты там подвязаны.

Облазав овраг, мы вернулись в блиндаж командира. Он был хотя и чище, и просторнее, чем другие землянки, но такой же сырой и низкий.

— Ну? — спросил Станкович.

— Хуже не придумаешь, — сказал я.

— Ну что же, — как-то с сожалением посмотрев на меня, сказал он. — Принимай. В двадцать три ноль-ноль доложишь о смене. Бывай здоров! — И, крепко пожав мне руку, они ушли.

Подписав акт о приеме района обороны и взяв один экземпляр себе, я вышел из блиндажа и сел на склоне оврага. Настроение было подавленное, словно меня загнали в мышеловку и осталось только захлопнуть ее.

II

В сумерках, погромыхивая коробками с лентами, согнувшись под тяжелыми станками пулеметов, гуськом пришел первый взвод. Впереди шагал Макаров.

— Ну как, командир? — загудел он, увидев меня — Дыра?

— Дыра, — сказал я.

— Не пропадем! — весело заверил он.

Подошел Огнев и спросил с обычной своей улыбкой:

— Куда мне?

А сзади уже скатывались в овраг солдаты другого взвода.

В блиндаже лениво переругивались телефонисты, устанавливая коммутатор, и радист тихо твердил, притулившись в углу со своей рацией:

— Я «Орел», я «Орел», я «Орел»... Как меня слышите? Как слышите?... Перехожу на прием.

Наступала ночь. Трассирующие пули летели над нами слева направо, справа налево, прямо в лоб, а иногда прилетали даже откуда-то из наших тылов. Это, наверное, из третьей роты. Завтра надо будет договориться, чтобы поставили ограничители.

Пришел Ростовцев и доложил, щелкнув каблуками:

— Минометы установлены. Половина взвода копает землянку, половина занята подноской мин. — Потом помолчал, скручивая папироску, и сказал: — Сейчас мимо артиллеристов шел, укрытия копают для пушек. Веселков велел передать, что дивизионки... — Он огляделся и удивленно произнес: — Вот черт, со всех сторон стреляют!.. Дивизионки установлены на опушке.

С одиннадцати часов ночи я вступил со своей ротой в полное и безраздельное владение «Матвеевским яйцом». Я вглядывался в схему линии переднего края, и тревожные мысли не покидали меня. «Только бы прошла она, эта первая ночь, — думал я. — Завтра же надо начинать что-то свое. Надо сделать все, чтобы обеспечить здесь более или менее сносную жизнь. Знают ли фашисты, что у нас произошла смена? Только бы не лезли они ко мне этой ночью. Завтра нам будет легче. Мы оглядимся, пристреляемся, устроимся прочнее. Что там, за теми кустами?..»

Напротив меня сидел телефонист Шубный. На его большой голове висела ловко прилаженная на черной тесемке телефонная трубка, и он беспрестанно разгова-

ривал с дежурными взводов. Разговаривал с умыслом: чтобы они всегда были на проводе.

— «Волга», «Волга», я «Орел». Ты что, заснул? Нет? А что? Дрова в печку подкладывал? Ты смотри не спи, а то дрова прогорят, зараз и попадет от лейтенанта. Как у вас там, в порядке? Стреляют? Хорошо. Светит? Хорошо. Значит, в порядке. — И он переключался на другой взвод, перекинув толстыми ловкими пальцами рычажки коммутатора. — «Кама», «Кама», я «Орел». Га! Це ж ты, Хоменко? Ты меня чуешь? Та це я, Шубный. Чуешь? О, добре. Ну як там у вас? Як вин, стреляе? Ага, стреляе. Хай ему... Слухай, Хоменко, чи не був ще у вас двенадцатый? Був и с тобой балакав? О! Про шо, про твою дивчину? Ни? А про шо? А-а, про то, як телехвон работае... И пийшов? До кого? Ага!..

С этим Шубным я вначале хлебнул горя. Пришел он ко мне год назад с пополнением. Мы тогда стояли на переформировке в чистых больших рыбачьих деревнях на озере Селигер. Вид Шубного сразу внушил моим командирам много всяких сомнений. Он даже не умел как следует наматывать обмотки. Ремень не перетягивал, а лишь поддерживал его толстый живот. Назвался он ездовым, но старшина, хитрейший мой старик, оглядев его, сказал:

— Нужен мне такой ездовой, как... — и сплюнул.

Я отдал Шубного командиру минометного взвода Ростовцеву, пусть потаскает минометную плиту, порастрясет жир. Неделю спустя Ростовцев с жаром стал мне доказывать, что минометчика из Шубного не выйдет. На занятиях он безмятежно спит и вообще...

— Переведите его куда-нибудь, в петэзр, что ли. Измучил он меня!

И пошел мой Шубный гулять из взвода во взвод, мучая командиров. То застанут его читающим книжку на посту, то надерзит кому-нибудь.

Майор Станкович как-то сказал:

— А попробуй-ка ты его к себе взять. Чтобы он у те-

бя на глазах был все время. Ну, в отделение связи хотя бы.

Я так и сделал. После этого Шубного словно подменили. Работа телефониста пришлась ему по душе. На дежурства к коммутатору он выходил чисто побритый, так старательно перетянув ремнем живот, что даже дышал с хрипом. Уже через месяц он стал одним из лучших телефонистов. Когда он дежурил, я был спокоен: на коммутаторе у меня полный порядок...

— Я «Орел», я «Орел». Здесь. Нет, не спит.

Я беру трубку. Это Макаров. Он с моим ординарцем Иваном Пономаренко ходит поверяющим. Сейчас они на правом фланге. Макаров спрашивает, как дела, смеется:

— Я тут ребятам, чтобы не спали, сказку рассказываю.

— Ладно, — говорю ему, — давай домой.

— Я «Орел», я «Орел»... — бубнит Шубный. — Ты что, заснул? Нет, не заснул, а письмо писал? Добре. От меня привет передай. Как у вас там, стреляют?..

Наша первая ночь в овраге шла на убыль. Наступал рассвет, медленный, мглистый. Туман, плотный и такой густой, хоть в пригоршни его бери, заволок все болото, вполз в овраги. Становилось все тише и тише. Кончалась ночная перестрелка. Скоро взойдет солнце, рассеет туман и можно будет оглядеться повнимательнее. Прежде всего надо проверить, что находится там, за кустами, вклинившимися между оврагами, между первым и четвертым взводами. Звоню начальнику штаба, докладываю, как прошла ночь, прошу выслать ко мне саперов с миноискателем.

III

Они пришли часа полтора спустя. Никита Петрович Халдей, мой заместитель по политчасти, молча наблюдавший за тем, как мы с Иваном Пономаренко снаряжаем автоматные диски, вдруг сказал:

— Нет никакой необходимости идти туда самому командиру роты. Это с успехом можно поручить любому офицеру.

...Никита Петрович прибыл к нам в роту из тылового госпиталя. Политработник он был талантливый, и сразу почувствовалось, как с его приходом у нас по-новому заработали и партийная и комсомольская организации и в каждом взводе стали выходить злободневные боевые листки... На КП он бывал мало. Приходил лишь поесть, поспать, подготовиться к новой беседе и снова отправлялся к солдатам, которые души в нем не чаяли. Он не только перезнакомился со всеми солдатами, но и знал, как зовут их жен, матерей, детишек, как там, в тылу, живут они. Он был так внимателен и заботлив, что Макаров не напрасно говорил: «Никита Петрович — отец наш родной». Так оно и было на самом деле. Следует сказать, что Никита Петрович был старше всех нас, а таким, как я да Макаров, и впрямь в отцы годился...

— Меня это не устраивает, — возразил я. — Надо самому знать весь передний край.

— Вы отвечаете за подразделение...

— Вот поэтому-то я и хочу знать все сам. Давайте оставим этот разговор.

— Этот разговор я оставить не могу, — взволнованно проговорил он.

— А я не стану сидеть в этих оврагах с завязанными глазами.

— Вы, по сути говоря, идете в разведку и должны получить на это разрешение командира батальона. — Он становился все настойчивее.

— И к командиру обращаться за каждым пустяком тоже не стану. Пошли, Иван.

Кустарник был рослый, выше человека. Несколько высоких густых елей виднелось впереди. Я задумал: как дойдем до одной из них, так заберусь повыше и понаблюдаю за немцами.

Саперы приладили миноискатель. Они то и дело останавливались и обрезали бечевки. Гранаты РГД почти все

лежали на виду. Но бечевки, протянутые от них к стволам осинок, было трудно разглядеть.

Мы гуськом — впереди сержант с миноискателем, за ним два других сапера, потом я и замыкавший шествие Иван Пономаренко — все дальше и дальше забирались в кусты. Был тихий утренний час, когда весь передний край умолкал, так сказать, переходил на дневной распорядок, когда в окопах остаются дежурные пулеметчики, наблюдатели да снайперы, а все остальные отдыхают, моются, завтракают, бреются, спят, читают газеты, пишут письма... Был тот обманчиво тихий утренний час, когда казалось, что, кроме тебя, на десятки километров вокруг никого нет и войны никакой нет, ты можешь выпрямиться, отбросить постоянную настороженность... Слышалось лишь легкое похрустывание веток под ногами. Мне стало казаться, что мы уже далеко зашли в этой тишине, когда вдруг почти совсем рядом раздалась автоматная очередь. Пули вжикнули мимо нас. Мы упали на землю, я ткнулся головой в кочку, слыша вторую, третью, четвертую очереди, чувствуя, как пули с легким чавканьем входят в землю вокруг моей головы. Это не было похоже на обычную бесприцельную стрельбу. Кто-то видел нас, следил за нами. Надо было уходить.

— Назад! — крикнул я. — Перебежками по одному! — И тут же перепрыгнув через меня, протопал ботинками сержант с миноискателем, за ним второй сапер, третий. Я вскочил, метнулся следом, крикнул Ивану Пономаренко:

— За мной!

Мы зашли в кустарник всего метров на тридцать, не больше.

— Все целы? — спросил я, когда выбежали на тропу.

Тяжело дыша, сержант сказал:

— Кажись, все.

— Откуда он мог бить?

— Наверно, с елки, товарищ капитан, больше неоткуда.

Да, вероятно, так оно и было. Только с елки «он»

мог видеть нас. Значит, немцы забрались в кусты раньше, чем мы. Они посадили на елку «кукушку» и просматривали почти все наше расположение. Мало того, что мы, сидя по оврагам, видели не дальше своего носа. Немцы контролировали даже и эти овраги.

На КП меня встретили тревожные, вопросительные взгляды Халдея, Макарова, Шубного. Впрочем, Халдей смотрел на меня не столько тревожно, сколько осуждающе. Это меня еще больше разозлило.

— Ну, нечего глаза таращить! — набросился я на Шубного. — Вызывай Сомова и Огнева.

— «Кама», «Кама», — испуганно забубнил Шубный, сопя от усердия. — Давай девятнадцатого, одиннадцатый будет говорить. «Дон»... Двадцать второй... одиннадцатый на проводе...

— Слушайте внимательно, — сказал я. — У тебя, девятнадцатый, слева, у тебя, двадцать второй, справа в кустах три елки. Сшибить с вершин все сучки!

— Пулеметом? — с хрипотцой спросил Сомов.

— Ты что, спал, что ли?

— Спал.

— С добрым утром, — весело поздравил его Огнев.

— Действуйте.

— Есть, — ответили Сомов и Огнев в один голос.

Ударили станковые пулеметы. Я вышел из блиндажа. С елок сыпалась хвоя. Они оголялись на глазах. Вдруг вся макушка одной из них, самой высокой, закачалась и, чуть задержавшись, стала медленно валиться на землю. Это сделал, конечно, Огнев — самый лучший пулеметчик роты.

— Все, — с удовлетворением заметил Иван Пономаренко, стоявший рядом со мной. — Теперь не тильки зозуле, а и горобцу причипиться нема за шо.

Я вернулся в блиндаж.

Шубный имел привычку подключаться к коммутатору батальона и слушать, о чем разговаривает штаб с командирами других рот, какие поступают распоряжения с КП батальона. Безвылазно сидя у меня на телефоне,

Шубный тем не менее был самым осведомленным человеком в батальонных делах. Сейчас он тоже подслушивал и доверительно прошептал мне:

— Про вас разговаривают.

Я взял трубку. Разговаривал командир батальона подполковник Фельдман, маленький, толстый, очень храбрый человек, со своим заместителем Станковичем, который находился в третьей роте.

— Так вот, — говорил Фельдман. — Если успеешь, побывай у него и обязательно передай этому обормоту от моего имени, что, если он вздумает снова без моего разрешения идти в разведку, я сниму его с должности командира роты.

Послышался смех Станковича, потом он сказал:

— Ладно, я с ним поговорю.

Покраснев, я положил трубку на стол.

— Выключись! Нечего подслушивать чужие разговоры. Завели моду висеть на чужих проводах, сплетни собирать. Где Халдей?

— Я здесь, — отозвался тот, выходя из дальнего угла блиндажа.

— Нажаловались, Никита Петрович?

— Про что?

— Про кусты, известно, про что.

— Я не жаловался, а только сказал подполковнику, когда он позвонил, где вы. Вот и все.

Халдей, спокойный, умудренный годами, уверенный в своей правоте, стоял передо мной и с тем сожалением, с каким обычно смотрят умные люди на того, кто делает глупости, смотрел на меня.

IV

Линия переднего края дугою растянулась чуть ли не на два километра. По оврагам, по кустам, не видя друг друга, маленькими гарнизонами сидели четыре пулеметных взвода моей роты.

На левом фланге стоял лейтенант Сомов. С соседом,



третьей ротой, которая находилась почти на километр левее его и в тылу, у Сомова была огневая связь. Правым его соседом являлся младший лейтенант Огнев, между ними — кусты, в которых меня обстреляла «кукушка». Дальше, в овраге, сидел со своими людьми лейтенант Лемешко, а еще дальше — взвод старшины Прянишникова. Потом начиналось болото, густо поросшее кустами, а за болотом, в лесу, находился наш правый сосед.

На переднем крае шла обычная для нас жизнь. Старший лейтенант Веселков и лейтенант Ростовцев начали пристреливать орудия и минометы, ставить перед пулеметными взводами заградительные огни. Постукивали пулеметы: это командиры, сговариваясь по телефону, устанавливали ориентиры кинжальных и фланкирующих огней для ночной стрельбы, готовились при необходимости прикрывать друг друга. Пристрелкой руководил Макаров. Мы еще ночью уточнили с ним все, что надо будет сделать днем, и составили примерную схему обороны.

Пришли на КП Ростовцев и Веселков. Орудия и минометы пристреляны. Перед каждым взводом поставлены неподвижные заградительные огни. Надо давать им названия, условные серии ракет. Решили назвать огни: «Лось», «Верблюд», «Тигр» и «Слон».

Веселков с честью носил свою фамилию. Это был песенник, балагур, плясун. Вот и сейчас уселся на нары, сдвинул фуражку на затылок, привалился плечом к стене и потихоньку запел:

Расцветай, кудрявая рябина,
Ох, да наливайтесь, вишни, соком вешним...

Рябоватый, малоразговорчивый Ростовцев, сидя подле него, скручивал папироску. Ростовцев — чудесный практик из сержантов, звание лейтенанта присвоено ему недавно, он еще не привык к офицерским погонам, они смущают его. Очевидно, поэтому он несколько дней ходил вообще без погон; сержантские снял, так как он уже перестал быть сержантом, а надеть офицерские погоны стеснялся, так как слишком неожиданным был для него

этот переход, если можно так выразиться, из сержантского в офицерское положение. Лишь потом, когда я сделал ему замечание, он надел погоны.

Не успел Веселков закончить своей песни, как меня вызвали на улицу. В овраге стояла группа автоматчиков. На склоне оврага сидел генерал Кучерявенко, командир дивизии. Генерал о чем-то разговаривал со своим адъютантом, стоявшим подле него.

— Командир четвертой роты капитан... — начал я докладывать, но генерал перебил меня:

— Ладно, знаю. Пойдем посмотрим, как вы тут устроились.

Я повел его во взвод Лемешко. Дорога туда была самой безопасной.

— А ведь обстреляли нас, сволочи! — вдруг сказал генерал.

— Вы напрасно днем пришли сюда, — ответил я. — Опасно же.

— Ну, это еще полбеды, — весело отозвался он. — Люди-то твои ходят?

— Ходят.

— А мы что, не люди, что ли?

Когда мы пришли во взвод Лемешко и, высунув перископ, смогли увидеть лишь небольшой участок нейтральной полосы, а дальше все скрывалось от нашего взора за бугром, генерал призадумался. Отдав перископ Лемешко, он долго молчал, покусывая прутик.

— Плохо, — наконец, проговорил он. — Как, по-твоему, сержант? — обратился он вдруг к сержанту Фесенко, стоявшему тут же.

— Не видно ничего, товарищ генерал, — бойко ответил тот. — Надо вперед продвинуться. А так — разве это война?

Генерал, прищурясь, посмотрел на меня. Лицо его оживилось, он как бы спрашивал с веселым любопытством своими зоркими, небольшими, окруженными старческими морщинками глазами: «Понял ли ты что-нибудь? Неужели ничего не понял?»

— М-да... — с сожалением проговорил он, видя, что я молчу и, стало быть, в самом деле ничего не понял. — Ну, будьте здоровы! — И пошел, помахивая прутиком, в распахнутой шинели, обратно. Мы тронулись следом.

День был солнечный, теплый. Не доходя до моего блиндажа, генерал сел на землю, сказал мне:

— Садись, капитан.

Я сел.

— Боевой устав пехоты у тебя с собой?

— Он в блиндаже, я сейчас принесу.

— Не надо, — сказал генерал. — Боевой устав пехоты должен быть у командира всегда при себе, в полевой сумке. — По его сердитому голосу видно, что он недоволен и мною как командиром роты и тем, как я устроился здесь. Это показалось мне обидным.

Я сказал, что у меня нет сумки, а только планшетка, в которую устав не влезает. Карту я всегда ношу с собой.

— Какой участок занимает рота по фронту? — спросил генерал, очевидно, подумав, что я самый отпетый олух.

Я покраснел. Нашел время экзаменовать! Разве сейчас до этого? Мне стало досадно, я сказал:

— Два километра.

— А в глубину?

— Три.

— Чего?

— Километра.

— Не знаешь ты, капитан, устава, не знаешь.

— Знаю.

— Нет, не знаешь. Сколько, адъютант, по фронту рота занимает? Ну, живо!

— Семьсот метров.

— А в глубину?

— Тоже семьсот метров.

— Видал? — повернулся ко мне Кучерявенко.

— Видал, — сказал я. — Только это по уставу, теоретически. А на практике все иначе. Вот у меня два километра по фронту, а в глубину три. Это как, по уставу?

Он с интересом, даже с некоторым удивлением рассматривал меня. И когда заговорил, то я понял, что мнение его обо мне теперь несколько изменилось.

— Орел, орел! — покачал он головой. — Да у тебя огня больше, чем в стрелковом батальоне. Ты огнем богат, как дьявол. Я поэтому и доверил тебе этот участок.

— Людей мало.

— У меня у самого их мало. Но овраги свои ты мне удержи во что бы то ни стало. Головой ответишь. Понял?

— Понял.

Он поднялся, протянул мне руку.

— Ну, прощай, задира. С генералом как, понимаешь, непочтительно разговариваешь! — Он засмеялся, тряхнул мою руку и, чуть лукаво и вопросительно поглядев на меня, словно спрашивая, понимаю я его или нет, продолжал: — А сержант-то, слыхал? Вперед, говорит, надо. Дельные сержанты у тебя.

V

В тот же день мы с лейтенантом Лемешко и сержантом Фесенко, закинув автоматы за спину, поползли вперед. Вечерело. Было тихо, тепло, где-то далеко за лесом садилось солнце, и макушки самых высоких елей и сосен были позолочены и казались чудесно легкими, кружевными. У немцев играли на губной гармонике. Послышался стук автомобильного мотора и смолк. Справа выстрелила пушка, и по лесу долго и гулко катился одинокий выстрел, словно лес, дремавший до этого и разбуженный, гневно, но сдержанно возмущался, рычал.

Нейтральная полоса, казавшаяся от нас, из оврага, удивительно ровной и гладкой, была в тех неприметных издалека морщинках и складочках, в которые так удобно и приятно бывает прятаться. Фесенко, чуть посапывая, упруго упираясь в землю ботинками, полз впереди, и я, занятый этим не очень удобным, но привычным во время войны способом передвижения, даже не заметил, когда он исчез из глаз, скатился в неглубокий овражек, уходивший

в сторону болота. Когда мы с Лемешко подобрались к сержанту, он зашептал:

— Я уже тут был. Здесь все видно хорошо. А впереди окопчик. Оттуда еще лучше видно. Даже слышно, как немцы разговаривают.

— Ну, давай туда, — сказал я, и Фесенко сейчас же двинулся дальше.

Окопчик, про который он говорил, вырытый наспех, очевидно, во время наступления и заброшенный за ненадобностью, уже осыпавшийся, мелкий, был на самом гребне высотки, не дававшей нам просматривать из оврага передний край немцев. А отсюда действительно было все чудесно видно: весь фашистский передний край от самого леса до тех кустов, что между Огневым и Сомовым. Елки, оголенные нами, находились, оказывается, прямо перед немецкими окопами.

Было слышно, как метрах в ста от нас мирно и беспечно переговариваются немцы. Вот один из них вылез на бруствер и, постояв там, поглядев в нашу сторону, не спеша пошел к дзоту. Потом подъехал на высоком гнедом коне офицер, спрыгнул на землю, отдал поводья подбежавшему солдату и, постукивая стеком по голенищу сапога, тоже пошел к дзоту. Солдат неуклюже взобрался в седло и порысил в тыл. Пользуясь тем, что мы не можем их видеть, немцы вели здесь себя совершенно свободно.

— Сюда, — сказал я Лемешко. — Весь взвод выведешь сюда.

Я решил осуществить это немедленно, как только наступит ночь. Нужно было лишь сообщить о своем намерении штабу батальона. Но как там отнесутся к этому? Могут взять под сомнение, потребуют всевозможные схемы и выкладки, а заниматься ими сейчас некогда. Вперед, только вперед! Этого требовали все обстоятельства.

Вернувшись в блиндаж, я приказал вызвать к телефону всех командиров.

Шубный засопел, защелкал рычажками:

— «Кама», «Кама»... давай хозяина...

Несколько минут спустя все уже были на проводе, и я, приложив трубку к уху, услышал молчаливое, настороженное дыхание сразу нескольких человек.

— Веселков и Ростовцев с наступлением сумерек оставляют на батарее по одному расчету, остальных людей высылают с лопатами в распоряжение Лемешко.

— Что делать? — спросил Веселков.

— Лемешко знает. Ростовцеву немедленно послать к старшине связного, чтобы старшина, оставив двух часовых, со всеми ездовыми, поварами и писарями, захватив с собой лопаты, прибыл ко мне. Веселков, останешься на батарее, командиров взводов — к Лемешко.

— А мне как быть? — спросил Ростовцев.

— Ты тоже останешься. Если надо, будешь стрелять сам.

— Ясно, — сказал Ростовцев.

— Действуйте.

— Есть.

Из других взводов я забрал все имеющиеся у них лопаты, вооружил ими петэзровцев и телефонистов и отправил к Лемешко. Кроме того, второй и четвертый взводы должны были выделить по два расчета ручных пулеметов для прикрытия работ, а пулеметы третьего взвода были поставлены на отсечный, фланкирующий огонь. Общее руководство всеми работами возлагалось на Макарова. За короткую весеннюю ночь надо было успеть прорыть от оврага шестидесятиметровый ход сообщения, пока хотя бы вполроста, углубить до полного профиля осыпавшийся, старенький окопчик, и в стороны от него прорыть самую настоящую траншею—с огневыми площадками, нишами, укрытиями и перекрытиями. Земля была легкая, песчаная, народу на работы собралось порядочно: я стянул туда чуть ли не всю роту, и Макаров к рассвету должен был все закончить. Меня беспокоило другое: как бы не пронюхали об этом немцы. Они могли обстрелять работающих из орудий и минометов, могли, пользуясь случаем, произвести разведку боем на других участках, где оставалось всего по три-четыре человека.

VI

В час ночи мне позвонил военный инженер Коровин, начальник штаба нашего батальона. Я ждал этого звонка и нарочно из-за него остался в блиндаже. Мы были вдвоем с Шубным. Халдей, Иван Пономаренко ушли с Макаровым.

— Как ведет себя немец? — спросил Коровин.

— Нормально — стреляет и светит.

— К тебе вышел начинж. Уточни с ним передний край и место, куда будешь сажать Лемешко. Да учти: будем ставить перед тобой лепешки и коробочки.

То, что ко мне идет начальник инженерной службы батальона и будет ставить противотанковые и противопехотные мины, — это очень хорошо. Однако идет он не вовремя. Лучше, если бы он сделал это завтра. Во всяком случае теперь надо будет подольше задержать его в блиндаже, а потом отвести к Сомову. В три часа начнет светать, работы закончатся...

Начальник инженерной службы капитан Локтев пришел час спустя. Он высок, молод, белокур, румян и пользуется неотразимым успехом у женщин санчасти. Я знаю об этом, усаживаю его за стол, угощаю чаем с клюквой и начинаю не спеша расспрашивать, поглядывая на часы, за кем он сейчас ухаживает. Локтев, посмеиваясь, отнекивается, рассказывает батальонные новости: командир третьей роты Филин решил жениться на военфельдшере Дусе, которая раньше была влюблена в Локтева. Напившись чаю, он придвигает к себе схему переднего края, рассматривает ее.

— Противотанковые мины мы поставим сзади тебя, в лощине, — говорит он.

— Правильно. Чтобы я сам подорвался на них.

— Ничего, не подорвешься. Мы тебе проходы сделаем.

— Вы мне лучше кусты заминируйте как следует.

— И кусты заминируем. Весь твой передний край.

В это время шумно вваливаются в блиндаж Макаров, Халдей, Пономаренко.

— Все, командир! — весело говорит Макаров. — Лемешко вышел вперед.

— Это куда — вперед? — настораживается Локтев.

— Пойдем покажу, — говорю я.

Мы выходим на улицу. Светает. Навстречу нам, устало переругиваясь, с лопатами на плечах идут артиллеристы, минометчики, телефонисты, ездовые.

— Откуда они? — допытывается Локтев.

— С работы, — говорю я. — Сейчас увидишь.

Ход сообщения начинается от оврага и, петляя, тянется по полю. Сперва он только по пояс нам, но скоро мы уходим в него с головой.

Лемешко устроился прочно. Пулеметы, закутанные плащ-палатками, стоят на открытых площадках, в нишах — коробки с лентами, цинки, гранаты всех сортов. Ловко, все под руками. Молодцы! Фесенко, усталый, перепачканный землей, улыбается:

— Товарищ капитан, я сейчас одного немца — он вылез на бруствер—так ляпнул, он аж пятки задрал. К нему второй вылез, хотел, видно, утащить в траншею, а Важенин, — кивает он в сторону сержанта, стоящего рядом с ним, — а Важенин и второго уложил. Ну и переполох у них поднялся! Послушайте.

Прислушиваемся. Немцы в самом деле о чем-то громко, встревоженно переговариваются.

Несколько минут спустя возле нашей траншеи начинают беспорядочно рваться мины.

— Разозлились немцы, — говорит Лемешко, подойдя к нам. Он лукаво улыбается. — Не понравилось.

— Ничего, товарищ лейтенант, привыкнут, — деловито замечает Фесенко. — Приучим.

— Когда это вы все успели? — спрашивает Локтев, удивленно оглядываясь.

— За ночь, товарищ капитан, — отвечает Лемешко.

— Что же ты мне не сказал? — Локтев укоризненно смотрит на меня. — Я бы тебе саперов подбросил.

— Ладно, — говорю, — ты давай скорее мины ставь.

— Сегодня ночью начнем.

VII

Расставшись с Локтевым, я ложусь спать, но заснуть мне не удается. Возле дверей слышится чей-то злой, встревоженный голос:

— Где командир роты? — и в блиндаж вбегает испуганный, бледный адъютант командира дивизии.

— В чем дело, старший лейтенант? — спрашиваю я, приподнимаясь.

— Идите немедленно к командиру дивизии.

Я одеваюсь и иду следом за ним. Он почти бежит по оврагу.

Командир дивизии стоял на том самом месте, где еще вчера располагался Лемешко со своим взводом. Встретил он меня неприветливо.

— Где у тебя взвод, капитан? — сердито спросил он. Вокруг генерала стояли солдаты с автоматами наготове. Я пал духом, еле выдавил из себя:

— Какой, товарищ генерал?

— Вот, который вчера здесь был, — он нетерпеливо топнул ногой.

— Впереди.

— Где?

— Пойдемте, покажу.

Я вскарабкался по склону оврага и остановился возле входа в траншею, пропустив вперед генерала.

— Пригнитесь только.

Он надвинул фуражку поглубже на глаза и, ссутулясь, быстро пошел по траншее.

Лемешко встретил нас, отрапортовал. Генерал, все еще хмурясь, молча прошел мимо него, долго глядел в перископ на фашистские окопы, потом, круто повернувшись, отрывисто, все тем же сердитым тоном спросил у меня:

— Кто отличился?

— Лейтенант Лемешко... — начал я, но генерал перебил:

— Адъютант, орден Красной Звезды!

Адъютант вытащил из сумки коробочку, передал ее генералу.

— От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик награждаю вас орденом Красной Звезды! — торжественно произнес генерал, обращаясь к Лемешко, и, вручив ему коробочку с орденом, поцеловав лейтенанта, совершенно ошалевшего от неожиданности, сказал:

— Молодец, поздравляю, — и повернулся ко мне: — Кто еще?

— Сержант Фесенко.

— Это не тот ли, который вчера вперед рвался? Давай его сюда.

Фесенко предстал перед генералом. Ему была вручена медаль «За отвагу».

Наградив семь человек, генерал сказал мне:

— Ну, пойдем к тебе, орел.

Веселый, довольный, он сидит за столом напротив Шубного, расспрашивает Макарова, где тот раньше воевал, удивляется:

— Как же это ты в истребителе помещался?

— Помещался, — смущенно говорит Макаров, — ничего...

Генерал задумывается, потом встает из-за стола, говорит:

— Внимание!

Мы все вытягиваемся, и в торжественной тишине Макарову вручается орден Красной Звезды. Макаров растроган до слез и на радостях так жмет руку генерала, что тот даже приседает, смеется:

— С ума сошел! Ты же все пальцы передавишь мне! Вот и попробуй, награждай таких.

Я стою возле двери. Настроение у меня праздничное.

— Ну что, доволен, орел? — спрашивает меня генерал.

Я отвечаю утвердительно.

— Не хитри.—Кучерявенко щурится в улыбке.—Я же тебя насквозь вижу. — Побарабанив пальцами по столу,

он поднимается, и... наступает моя очередь. Он сам прикалывает мне на грудь медаль «За отвагу».

— За смелость и решительность, — говорит он. — За то, что самостоятельно решаешь боевые задачи, за то, что прислушиваешься и к сержантам, и к генералам, когда они, конечно, дело говорят, как вчера, например. Дело ведь мы с сержантом предложили тебе?

— Дело! — смеюсь я.

Вдруг блиндаж начинает содрогаться от разрывов снарядов. Я хватаю телефонную трубку. Отзываются все пулеметные взводы, артиллеристы, минометчики. Немцы бьют беглым огнем по расположению всей роты. Связываюсь с соседями, но у них тихо.

Через пятнадцать минут артналет прекращается.

— Видал? — спрашивает, прощаясь, генерал.

— Видал.

— Ну, то-то. Запомни: ты у него, как кость в глотке, торчишь. Он тебя непременно будет или заглатывать или выплевывать. А ты что?

— А я упрусь — и ни туда ни сюда!

— Правильно, только следи внимательнее. Знаешь, кто стоит перед тобой?

— Егеря.

— Вот. Следи. Они понаторели на всяких темных делах. В прошлом году целый взвод в боевом охранении вырезали.

VIII

Наша рота в основном состояла из тех, кто пришел в батальон вместе со мною в начале войны. Позднее, когда мы понесли большие потери сперва в районе Селижарово, а потом под Ржевом, нас перебросили с переднего края на озеро Селигер к городу Осташкову на переформировку и пополнение. Тогда и прибыли к нам Шубный, Иван Пономаренко, сержанты Фесенко, Рытов и многие другие.

Формировались мы целых три месяца, почти заново

переучивались, а в роте за это время все не только перезнакомились, но и подружились, привыкли друг к другу и, разумеется, полюбили наш батальон, его добрые традиции. Одним словом, новички стали такими же страстными патриотами -укрепрайоновцами, как и наши ветераны.

После переформировки мы опять были переброшены на передний край, где сменили стрелковый полк. У нас опять были больные, раненые и убитые, и нас два раза пополняли, правда, уже не так щедро, как под Осташковом, — всего человек по восемь-девять в роту.

Третий раз пополнение прибыло к нам прямо на марше. Двух человек я тут же направил ездовыми в артиллерийскую батарею, двух — в минометный взвод, одного — к Лемешко, одного — к Сомову.

К Сомову попал солдат Лопатин. Что это был за человек, мне так и не удалось узнать. Из формуляра, прибывшего с ним, выяснилось немногое: где и когда родился, сколько лет, кем работал. Мне бы, конечно, следовало побеседовать со всеми новичками, но я тогда не сделал этого. Как в таких случаях бывает, все находились неотложно-срочные дела и до новичков у меня, как говорят, руки не доходили. Сомов, когда мы уже приняли оборону в «Матвеевском яйце», отозвался о Лопатине односложно, хотя и довольно определенно:

— Трусоват.

Я хотел было узнать поподробнее, почему он пришел к такому заключению, но явился Никита Петрович Халдей, принес с собой немецкую листовку и стал с огорчением ругаться, что у него сил не хватает избавиться от них. Когда снег растаял, их, свеженьких и уже пожелтевших и истлевших, оказалось много в наших оврагах. Мы собирали, жгли листовки, но ветер черт знает откуда опять заносил их к нам. В них писалась страшная чепуха, вроде того, как ранить самого себя или приобрести грыжу, чесотку и фурункулы, чтобы покинуть передний край, и мы не обращали на них особого внимания. А были среди них и пропуска, с которыми немцы предлагали нашим бойцам переходить на их сторону, словно в кино по

контрамаркам. На пропусках были нарисованы винтовки, воткнутые штыком в землю.

Проводив генерала, я постоял возле входа в блиндаж, косясь украдкой от часового на медаль, блестевшую над карманом моей гимнастерки. Спать уже не хотелось, настроение было словно в день рождения или в Октябрьскую годовщину, и я решил пройтись по взводам. На КП я сказал, что иду проверять, как солдаты несут службу, а на самом деле, конечно, мне просто-напросто не сиделось от радости на месте и хотелось показаться на людях с медалью. Все-таки это была моя первая награда.

У Сомова я увидел в овраге новичка Лопатина, что-то внимательно рассматривавшего. Он даже не услышал моих шагов и оглянулся лишь тогда, когда я подошел к нему вплотную. В руках у него была немецкая листовка. Вздрогнув, скомкав листовку в кулаке, он уставился на меня с таким выражением в глазах, точно я мог ударить его.

— Что это вы читаете? — спросил я.

— Да вот, — он показал мне листовку. — Нашел сейчас. Пишут, пишут, а чего пишут, сами не знают. Что теперь с ней делать?

— Порвите, да и дело с концом. — Мне вдруг стало неловко от того, что он мог подумать, будто я заподозрил его в чем-то дурном, что он, хороший, честный человек, испытывает от этого боль, обиду.

— Как у вас дома? — участливо спросил я, чтобы сменить разговор. — Письма получаете?

— Получаю. — Он медленно рвал на мелкие клочки листовку.

— Что пишут? — Я никак не мог вспомнить, женат ли он, есть ли у него дети, а он отвечал односложно, словно через силу, словно я тянул его за язык.

— Да так, ничего особенного.

— Ко взводу привыкаете?

— Привыкаю.

— У вас там хороший, боевой народ.

— Ничего.

«Надо будет поближе познакомиться с ним, узнать, почему он такой угрюмый. Если у него характер этакого нелюдима, еще полбеды, а может быть, у него дома что-то неладно», — подумал я, не предполагая, что вижу его в последний раз.

Через два дня он исчез. Что с ним случилось, мы тогда так и не узнали.

Начальник инженерной службы сдержал свое слово и прислал взвод саперов, чтобы заминировать мой передний край. Было это как раз кстати: если на участках Сомова, Огнева и Прянишникова хоть гранаты были подвязаны на бечевках, то перед взводом Лемешко вообще ничего не было. А это всех нас немало тревожило.

Для охраны саперов, которые начали свою работу сразу же перед взводом Лемешко, мы выделили от Сомова расчет ручного пулемета. Как только наступили сумерки, за передний край уполз с ручным пулеметом сержант Куприянов, а с ним вторым номером — Лопатин.

В ту ночь они работали быстро, осторожно и бесшумно, и мы уже рассчитывали, что все обойдется благополучно, как вдруг немцы, видно, пронюхав что-то, начали ошалело лупить по взводу Лемешко из орудий и минометов. Саперы, кто был ближе, попрыгали в траншею, остальные залегли там, где застал их артналет. Троих тяжело ранило, а сержант Куприянов был убит. Пулемет погнуло и отбросило далеко в сторону. Лопатина мы не нашли. Снаряд, который разорвался там, где лежали наши пулеметчики, судя по огромной воронке, был очень крупного калибра. От Лопатина просто-напросто могло ничего не остаться. Так мы и решили.

Одно обстоятельство смущало нас: при осмотре пулемета было выяснено, что Куприянов в кого-то стрелял. В диске не хватало шестнадцати патронов, ствол и надульник пулемета были покрыты пороховой гарью. А во взводе нам сказали, что перед выходом в засаду Куприянов почистил пулемет и перезарядил все три диска. Почему и в кого он стрелял?

IX

Из батальона был получен приказ: мне ни на минуту не покидать переднего края без особого на то разрешения. Этот приказ принес старшина роты Лисицын. Он выпросил у начальника ОВС портного из батальонной мастерской и привел его с собою на передний край. Луговину, которую фашисты все время держали под обстрелом, они преодолели так: портной, кряхтя, неуклюже полз на четвереньках, а впереди него, заложив руки за спину, шествовал мой старик.

Старшина ни за что не хотел пригибаться.

— Буду я им, паразитам, кланяться! Я их еще в империалистическую и гражданскую бил, — говорил он, когда я делал ему замечание. — Ты, командир, за меня не беспокойся. Я знаю, как они стреляют здесь, сволочи. Пули летят над самой землей. Когда идешь в рост, они только в ногу могут попасть, а пригнешься, в голову, заразы, угодят.

Мы со старшиной воюем вместе с июля сорок первого года, с того самого дня, как сформировали наш батальон.

До войны Лисицын работал в кожевенной промышленности инспектором по качеству. Он прекрасный пулеметчик: в гражданскую войну был командиром взвода в Первой Конной.

Хозяин он тоже образцовый, но, как говорит интендант батальона майор интендантской службы Гаевой, длинный, тощий, беспокойно-суетливый человек, за Лисицыным нужен хороший глаз.

Однажды Гаевой собрал всех старшин на курсы и четыре дня преподавал им правила точного учета продовольствия и обозно-вещевого имущества, обращая внимание главным образом на то, что все захваченное в боях немедленно должно быть учтено, взвешено, пересчитано, заактировано, заприходовано и обо всем должно быть доложено лично ему или начальникам ПФС и ОВС. Старшинам было показано несколько форм докладных, годных на этот случай. Докладными больше всех заинте-

ресовался мой старик. Он со скрупулезностью допытывался у Гаевого, в какую графу вписывать те или иные предметы, как вписывать, надо ли все делать под копирку карандашом или обязательно на всех экземплярах писать чернилами. Гаевой, как рассказывали мне позднее, был очень растроган таким внимательным и добросовестным учеником и, поставив его в пример другим, хотел даже объявить ему благодарность в приказе по батальону.

Однако все дело испортил сам Лисицын.

К концу четвертого дня был устроен экзамен. Пришел командир батальона. Гаевой, чтобы блеснуть перед ним знаниями своего лучшего ученика, вызвал:

— Старшина Лисицын.

— Есть старшина Лисицын! — гаркнул мой бравый старик и, вскочив, вытянул руки по швам.

Гаевой задал ему такую задачу:

— Ваша рота во время наступления захватила продовольственный склад. Что вы будете делать?

— Немедленно заберу все продукты себе, товарищ майор.

— Как вы будете доносить об этом в батальон?

— Это, товарищ майор, смотря сколько какого продовольствия будет. Если лишку чего, я, конечно, могу поделиться, а то — чего ж доносить зря.

— А учет? — спросил Гаевой, наливаясь кровью.

— Когда ж заниматься учетом во время боя? — развел Лисицын руками. — Некогда.

— Что? — Гаевой даже подскочил. — А чему я вас учил здесь четыре дня?

Лисицын сконфуженно молчал.

— Вот, смотрите, товарищ подполковник, — обратился Гаевой к Фельдману, который еле сдерживал улыбку под усами. — Каков командир роты, таков и старшина. Яблочко от яблоньки недалеко падает!

...Старшина принес с собою белоснежные подворотнички на всю роту, пуговицы. Прошелся по взводам, осмотрел солдат.

— Почему шаровары порваны? — спрашивал он од-

ного. — Ты думаешь, государство тебе по десять пар за лето выдаст, только носи?

— Да я зашью, товарищ старшина. За проволоку зацепился.

— Зашью! Иди сейчас же к портному, он у связистов в землянке тебя ждет. А у тебя почему нет пуговицы на гимнастерке?

— Оборвалась.

— Знаю, что оборвалась. Почему не пришита?

— Потерялась.

— Сержанты за продуктами ходят? Заказать, чтобы пуговицу захватили, тебе некогда? Ты что такой неряшливый, командира позоришь? Держи пуговицу. А эту вот еще про запас. Нитки есть? Иголка? Живо пришить.

— А ну-ка, разуйся, — требовал он у третьего.

Солдат садится на землю, разматывает обмотки, снимает один ботинок, второй.

— Так и знал, — говорит старшина. — Приходи ко мне, я постираю.

— Чего?

— Портянки.

— Да я сам, товарищ старшина, — краснеет в смущении солдат.

— Неужели сможешь?

— Смогу.

— Ручеек-то знаешь, где протекает?

— Да знаю...

— Бочажинка там есть...

— И бочажинку знаю.

— Ну вот и ступай. Мыло не забудь прихватить. Есть мыло? Через час доложишь. Я у командира буду.

...Старшина сидит у меня в блиндаже, сняв пилотку, почесывает топорщащуюся ежиком седую голову, рассказывает:

— Что делается, командир! Ай-яй-яй! Что делается! В тылу скоро места пустого не найдешь, а эшелоны все прибывают и прибывают. Танки, орудия... Ай-яй-яй! Горы снарядов навалили в лесу!

— Не болтай!

— Сам видел!

Мы, конечно, уже слышали, что к нам стали прибывать свежие части. Поговаривали, будто нас будут сменять. Однако то, что рассказал Лисицын, конечно, не походило на обычную перегруппировку. Накапливание в нашем тылу крупных сил имело иное значение.

— Стало быть, скоро вперед? — спросил я, не в силах сдержать радостной улыбки.

— Так точно, товарищ командир, вперед и никаких гвоздей! — не менее радостно подтвердил старшина. — Скоро погоним отсюда фашистов и в хвост и в гриву. А Гафуров-то, — он смеется, — опять от Тоньки своей письмо получил. И смех, и грех!..

— Слушай, старик, у тебя водка есть? — спрашиваю я. Фронт перешел на летнюю продовольственную норму, и водку выдавать перестали.

Лисицын косится на Никиту Петровича, читающего газету.

— Немного есть, — нерешительно говорит он.

— Ты вот что, лишнюю водку Гаевому не сдавай.

— Буду я ему сдавать, как же!

— Прибереги ее к нашему юбилею. Надо будет отметить годовщину сформирования батальона.

— Слушаюсь.

— И мне не давай, просить буду, приказывать — не давай.

— Не дам.

X

— Товарищ капитан, вас к телефону, — говорит Шубный.

— Кто?

— Не знаю. Очень сердитый кто-то.

Я взял трубку, и мне было строго и категорично заявлено:

— С вами говорит начальник агитмашины майор Гут-

ман. Прошу срочно явиться ко мне на вашу противотанковую батарею.

«Так уж и срочно!» — подумал я и ответил:

— Покинуть передний край не могу. Если я вам нужен, прошу прийти сюда.

Он едва выслушал меня и повелительно прокричал:

— Вы не имеете права так разговаривать со мной! Я нахожусь на положении начальника отдела политуправления армии.

— Вы понимаете, товарищ майор, что я не имею права покидать передний край? Жду вас на КП. Командир взвода даст вам сопровождающего, но должен вас предупредить, что местность простреливается, днем ходить опасно.

Он ничего не ответил. Мне не понравилось, что майор слишком подчеркивал, какое высокое положение он занимает. Люди, старающиеся отметить свое должностное превосходство перед другими, обычно бывают неумны, трусливы, поэтому я со злорадством подумал о майоре: «Ни черта он не придет, испугается».

Однако не минуло и четверти часа, как майор уже стоял в дверях блиндажа и внимательно рассматривал меня темными, немного выпуклыми глазами, ничего, кроме гневного нетерпения, не выражавшими. Он был молод, строен, из-под пилотки выбивались черные, вьющиеся волосы. И то, что он пришел так скоро, не взяв с собою даже сопровождающего, опровергало мое представление о нем, как о человеке вздорном и слабовольном. Он мне понравился.

— Почему вы не явились по моему приказанию? — нахмурив брови, спросил майор.

— Прошу ваши документы, — сказал я.

Он поморщился.

— Вам достаточно того, что я вам сказал.

Но я решил настоять на своем, хотя и верил ему.

— Нет, мне этого недостаточно. Я вас не знаю.

Нетерпение в его глазах сменилось изумлением, и они как бы стали от этого еще больше и красивее. Мы не-

которое время молча постояли друг против друга, выжидая. Потом майор первый не выдержал этого неловкого молчания, очень хорошо, человечно улыбнулся в смущении и показал мне свое удостоверение личности. Тогда я ответил:

— Не явился я, товарищ майор, потому, что командир дивизии приказал мне не покидать переднего края без особого распоряжения.

— Я вам давал такое распоряжение, — снисходительно сказал майор, придя в себя от смущения и, должно быть, решив, что оно не подобает ему при незнакомом офицере.

— Этого недостаточно, — сказал я.

— Как?

— Такое распоряжение может быть дано только моим непосредственным начальником.

Он прошелся по блиндажу, потом круто остановился и, нахмурясь, сказал:

— Я, капитан, буду вынужден доложить о вашем бестактном поведении кому следует.

— Это ваше право, товарищ майор.

Он сел на нары, закурил и, ловко пустив в потолок несколько колец дыма, спросил, с любопытством рассматривая меня:

— Вы знаете, с кем разговариваете?

— Знаю.

Он остался доволен моим ответом.

— Кажется, здесь ближе всего к противнику?

— Кажется, так.

— Покажите, где я могу установить репродуктор. Ночью мы будем вести агитационную работу среди вражеских солдат.

Теперь было ясно, зачем он пришел сюда. Я с сожалением подумал, что наши с ним неласковые взаимоотношения сейчас еще более осложнятся.

Ближе всех к противнику были окопы Лемешко и кусты между Сомовым и Огневым. Но там ставить репродуктор было нельзя. Я прекрасно знал, как ведут себя

немцы в таких случаях. Когда передают музыку, они слушают внимательно. На переднем крае возникает удивительная тишина. Не слышно ни одного выстрела. Но стоит диктору произнести:

— Ахтунг! Ахтунг! Дойч солдатен... — как у немцев поднимается оглушительная стрельба из пулеметов, орудий и минометов: они стремятся во что бы то ни стало заглушить этот голос. Пальбу они поднимают, конечно, не от хорошей жизни. Но палят все же не просто «в белый свет, как в копеечку», а именно по тому месту, где стоит репродуктор. Стало быть, если поставить его у Лемешко, там могут быть раненые, а может, и убитые; если поставить в кустах, где у меня теперь каждую ночь лежат в секрете солдаты с ручным пулеметом, немцы покалечат их. А у меня и так людей становится все меньше и меньше: редкий день обходится без раненого, и неизвестно еще, сколько немцев майор сумеет сагитировать.

— Репродуктор ставить на моем участке я не дам, — сказал я, с тоской думая о том, как теперь будет развиваться наша беседа с майором.

— Как вы сказали? — ледяным голосом спросил он.— Я вас не расслышал. А вы знаете, какое значение имеет наша работа?

Я понял, что он прекрасно расслышал меня.

— Знаю и очень ценю ее. — Я старался быть предельно вежливым. — Но ставить у себя репродуктор все-таки не дам. Вот, если хотите, справа, между мною и соседом, есть болото, там у нас ни души, а немцы рядом. Ставьте туда репродуктор и агитируйте, сколько хотите.

Он с раздражением сказал:

— Я впервые встречаю такого офицера, который умышленно, да, умышленно, — подчеркнул он, — мешает проведению агитационно-разъяснительной работы среди вражеских солдат.

— Нет, товарищ майор, вы не так меня поняли. У нас просто разные задачи. Вот и все.

— Хорошо, — сказал он, поднявшись. — Если вы са-

ми не решаетесь выполнить мои указания, то вас заставят это сделать. Для вас же хуже будет.

Я проводил его до двери. Расстались мы так же нелюбезно, как и беседовали.

Часа полтора спустя ко мне позвонил подполковник Фельдман и спросил:

— Что за конфликт возник у тебя с начальником агитмашины?

Я рассказал, и комбат, помолчав, санкционировал:

— Правильно.

Репродуктор установили на болоте, и ночью на нашем переднем крае запел Козловский:

Спи, моя радость, усни...

Пока он пел и потом оркестр исполнял какой-то веселый танец, было тихо. Но как только заговорил диктор, ударили немецкие орудия, и на этом все благополучно окончилось, потому что кабель сразу же был перебит в трех местах. Утром агитмашина уехала от нас.

XI

А между тем в тылу становилось все теснее от прибывающих войск. Они подобрались даже к переднему краю. Рядом с Ростовцевым разместилось девять минометных батарей. В овраг стали приходить большие группы пехотных, артиллерийских и танковых офицеров на рекогносцировку, и мне даже надоело объяснять и показывать им, где и что расположено у немцев. А однажды генерал Кучерявенко привел с собою высокого молодого майора с умным, усталым и задумчивым лицом и представил мне:

— Командир дивизиона «катюш», знакомься.

В тот же день пришли разведчики из соседнего стрелкового полка. Это были рослые парни, в хорошо подогнанных маскхалатах, все с автоматами, а на поясах, кроме дисков с патронами и гранат, у них висели кинжалы. С ними был лейтенант, такой же молодой и щеголеватый. Они притащили целый мешок продуктов, чтобы пять

дней наблюдать у меня за передним краем противника, а потом взять там «языка». «Язык» перед наступлением был очень нужен. Самым подходящим местом для прохода к немцам были кусты между взводами Сомова и Огнева. Туда я и направил разведчиков.

Дня через два ко мне зашел Огнев, и я спросил, как идут дела у разведчиков.

Огнев расплылся в благодушной улыбке:

— Загорают.

— Как загорают?

— Как на пляже. Снимают гимнастерки, штаны и с утра до вечера лежат в трусах на солнышке.

Оказывается, они построили в кустах на поляне шалаш и в самом деле с утра до вечера загорают.

— А ночью? — спросил я.

— А ночью спят. Я к ним два раза приходил — спят, как сурки. Даже часового не ставят.

Это было уже слишком. Я послал Ивана за командиром разведчиков. Тот явился только через полчаса. Воротник его гимнастерки был расстегнут, пилотку он принес в руке.

— Здравствуй, капитан, — сказал мне этот легкомысленный мальчик и, садясь на нары, протянул руку. — Ну и жара!

Руки ему я не подал.

— Во-первых, не здравствуй, а здравствуйте. Во-вторых, я еще не приглашал вас садиться, а в-третьих, выйдите, приведите себя в порядок и явитесь к старшему офицеру, как положено по уставу являться.

Он удивленно посмотрел на меня, пожал плечами и, не сказав ни слова, вышел.

Минуту спустя он угрюмо, недружелюбно спросил из-за двери:

— Разрешите войти?

— Войдите.

— Командир взвода разведчиков прибыл по вашему вызову.

— Садитесь, товарищ лейтенант.

Он продолжал стоять.
— Садитесь и слушайте.
Он неохотно сел, вздохнув при этом.
— Я не вмешиваюсь в то, как вы наблюдаете за передним краем противника, меня также не интересует, какое решение примете вы в результате этих наблюдений. Это дело вашего начальника. Однако те распорядки, которые существуют в моем подразделении, вы обязаны выполнять беспрекословно. Немедленно ликвидируйте пляж, ночью выставляйте часового. Вы не в тылу, а на переднем крае. Охранять вас я не буду. Иначе убирайтесь отсюда ко всем чертям.
— Есть прекратить пляж и выставлять часового, — сказал он, поднявшись.
И действительно, пляж был ликвидирован, а ночью возле шалаша лежал часовой. (Там были такие условия, что часовой мог только лежать: низко летели пули над землей.)
Однако дальше поляны, насколько мне известно, никто из них все-таки не ходил. Я стал ждать, чем же кончится эта их затея. Кончилась она очень прозаически: разведчики съели все свои продукты и убрались восвояси. В штабе полка было доложено: пройти незамеченными невозможно, у противника очень прочная оборона. И это была немалая доля правды: немцы сидели в своих окопах прочно.

XII

Вдруг среди бела дня или глубокой ночью немцы совершали огневые налеты на наш передний край, обрывая их так же неожиданно, как и начинали. Было похоже, что у них сдают нервы. Впрочем, мнения об этом высказывались разные.
— Немцы-то какие шалые, — говорил Веселков, прислушиваясь к разрывам снарядов. — Психуют!
— Это они перед отходом, — замечал Макаров. —

Они всегда перед отступлением бьют напропалую изо всего оружия, чтобы лишние боезапасы не везти.

Однако мне казалось, что эти неожиданные артналеты означали нечто иное, не похожее ни на нервозность, о которой говорил Веселков, ни на подготовку к отступлению, на которую надеялся простодушный Макаров. Почему они обстреливают только наше расположение и не трогают соседей? Почему у них на моем участке прибавилось артиллерии, минометов? Откуда они их взяли? Для чего?

Макаров однажды сказал:

— А не попал ли к ним в руки наш Лопатин? Что-то они уж очень точно пристрелялись по нашим позициям.

— Чепуха какая! — возразил я. — Как он мог туда попасть?

— Очень просто — перебежал и все.

— Нет, нет! — махнул я рукой. — Как можно думать о людях всякие гнусности? Мне даже слышать-то об этом не хочется.

— А Куприянов все-таки стрелял в кого-то, — настаивал на своем Макаров.

— Ну и что же? Откуда ты знаешь, один ли он стрелял? А я вот думаю, что они вдвоем стреляли. А может быть, это даже сам Лопатин стрелял, когда Куприянова убило. Нам ведь ничего неизвестно.

— Неизвестно-то неизвестно, а я чего-то не верю в это дело.

Начальник штаба батальона предупреждал меня:

— Смотри внимательнее, это неспроста.

Я и сам чувствовал, что это неспроста, и принял все меры к тому, чтобы оградить себя от возможных неожиданностей.

Усилили наблюдение за противником, ночью все были в боевой готовности. Командование тоже, вероятно, было обеспокоено поведением немцев: однажды ночью ко мне пришел артиллерийский офицер, старший лейтенант, командир батареи дивизионных пушек, и сказал, что по приказанию командира дивизии послан к нам впредь до

особых распоряжений. Кроме того, командиру их дивизиона приказано при первом же моем требовании ввести в бой еще и батарею гаубиц-пушек, стоявшую на участке правого соседа. Офицер привел с собою двух сержантов-разведчиков и радиста. Разведчиков мы послали к Лемешко и к Сомову, а радиста поселили к связистам, где стояла и наша рация.

В ту же ночь позвонил командир дивизии и сказал:

— Помнишь о нашем разговоре?

— Помню.

— Так вот еще раз напоминаю: если упустишь овраги, я с тебя шкуру сниму. Понял?

— Понял, — вздохнул я.

Он засмеялся, спросил:

— Артиллерист пришел?

— Пришел.

— Налеты не прекратились?

— Нет.

— Будь внимателен. Не иначе, как эти хитрые егеря тебя к чему-то приучить хотят. А ты не привыкай. Понял?

— Понял.

— Ну, смотри! — И он повесил трубку.

Ночь... На КП становится все тише и тише. Наигравшись до одури в домино, укладываются спать Веселков, новенький артиллерист и Никита Петрович. Макаров уходит к Лемешко. Там он пробудет до утра. Иван Пономаренко, подбросив в печку последнюю охапку сучьев, тоже лезет на нары. Остаемся бодрствовать только мы с Шубным. Я полулежу на постели, сооруженной возле стола. Шубный сидит напротив и рассказывает о своей гражданской жизни, то и дело прерываясь, чтобы проверить связь, узнать, как идут дела во взводах.

— Работаю я в Ростове монтером, прогуливаюсь как-то вечером по набережной, гляжу — сидит на скамейке барышня и семечки лущит... Я «Орел», я «Орел»! — вдруг кричит он в трубку.

Это из штаба батальона запрашивают обстановку. Докладываю.

Просыпается Халдей. Спит Никита Петрович беспокойно, ворочается, стонет, взмахивает руками и за ночь раз пять просыпается. Вскочит как угорелый, сядет на нарах, поджав под себя ноги по-турецки, и начнет поспешно крутить длиннющую цигарку. Закурив, снова ложится, тут же, как проваливаясь в бездну, засыпает, а цигарка падает на пол. Шубный, внимательно наблюдающий за ним, подбирает ее и, затушив, ссыпает табак в металлическую банку. Сам Шубный не курит, махорку свою отдает товарищам, а из табака Никиты Петровича создает НЗ. Когда у нас не хватает табака, мы все пользуемся этими запасами, но так как больше всех курит сам Халдей, то этот табак в основном переходит к нему. Никто, кроме меня, не знает, откуда у Шубного берется табак, не знает и Никита Петрович и всякий раз трогательно благодарит солдата, даже пытается расплатиться с ним деньгами, от которых Шубный благородно отказывается.

Незаметно наступает рассвет. Если глядеть в окошко, видно, как оно сперва голубеет, потом становится все светлее и светлее. Вот уже свет проникает в блиндаж, сперва робко, коснувшись лишь края стола, потом растекается всюду, даже по углам, начинает бороться с желтым пламенем лампы, скоро лампа уже горит, ничего не освещая, и Шубный, погасив, убирает ее под стол.

Выхожу из блиндажа. В овраге сыро. Даже шинель на часовом влажная. На переднем крае стихает перестрелка. Тоненько тинькнула птица и смолкла. Потом тинькнула еще, смелее. В кустах слышится треск. Кто-то лезет напрямик, медведем. Это Макаров. Улыбается:

— С добрым утром!

Часовой, казах Мамырканов из артиллерийских повозочных, маленький, кряжистый, хитроватый солдат, приветливо улыбается Макарову. Ватник на Макарове весь обсыпан росой с веток.

Макаров вваливается в блиндаж, сбрасывает с себя ватник и, растолкав Веселкова, забирается на нары. Веселков, зевая и потягиваясь, поднимается и тут же начинает тихонько напевать:

Да эх, Семеновна
С горы катилася,
Да юбка в клеточку
Заворотилася.

— Да-ра-ра-ра-ла-ла... — Он выходит, голый по пояс, из блиндажа с ведром воды в руках, дает Мамырканову:

— На-ка, полей.

Мамырканов ставит винтовку в угол и выливает воду на голову своего комбата.

— Хороших я тебе, капитан, часовых выделил? — спрашивает Веселков, вытираясь полотенцем. — Чудо, а не часовой. Так, Мамырканов?

— Так, — совершенно серьезно соглашается тот.

Скоро выясняется, что за чудо охраняет наш командный пункт. Выяснение это происходит не совсем обычным образом и с превеликим позором для всех нас.

Началось с того, что Мамырканов почему-то начал часто с тревогой заглядывать в дверь. По его испуганному лицу видно, что он хочет что-то сказать, но не решается.

— В чем дело, Мамырканов? — спрашиваю я.

— Так, — печально говорит он.

— А почему вы все в дверь заглядываете?

Он молчит.

— Ну, входите, — говорю я. — В чем дело?

— Меня не надо в разведку посылать, — просительно говорит он, склонив голову набок.

Эта просьба очень заинтересовала нас. Почему он ни с того ни с сего заговорил о разведке?

— Отчего же это тебя не надо в разведку посылать, а других надо? — спрашивает Веселков. — Нужно будет, и пошлем.

— У меня дети, трое, — еще печальнее говорит Мамырканов.

— Эко, брат, причину какую нашел — дети. Тут у всех дети! — возражает Веселков. — А если нет у кого, так потом будут. Это уж как пить дать.

Мамырканов некоторое время молчит. Видно, доводы

его даже ему самому кажутся не очень убедительными. Потоптавшись в нерешительности, он вдруг тихо, с мольбою произносит:

— Я совсем пропаду в разведке. Ноги больные, ревматизм, трещат... Немец услышит, что тогда будет?

— Ни черта он не услышит! — отмахивается Веселков. — А ну-ка, покажи, как они у тебя трещат.

Мамырканов приседает, но никакого треска мы не слышим.

Он смущенно глядит на ноги:

— Что такое?

— Ладно, иди, — говорит Веселков.

Мамырканов покорно выходит из блиндажа, прикрыв за собою дверь.

— Кто его так напугал разведкой? — спрашиваю я.

— А черт его знает! — говорит Веселков. — Наверно, Иван.

Я смотрю на Ивана Пономаренко, который давится от смеха в дальнем углу блиндажа.

— Ты?

— Та я ж, ну его, — простодушно признается он, вытирая слезы на глазах.

— Для чего это тебе понадобилось?

— Та вин боится разведки, як тот... як его... чертяка ладана. Я с ним побалакав трохи, а вин, дывысь ты... Як вин казав? Ноги трещать, о!

В это время дверь снова открывается. Мамырканов просовывает голову и озабоченно сообщает:

— А я из винтовки стрелять не умею.

— Как не умеешь? — вскакивает Веселков. — А ну! — и быстро выходит из блиндажа.

Идем и мы все за ним следом, очень заинтересованные таким открытием.

— Стреляй, — приказывает Веселков.

— Куда? — покорно спрашивает Мамырканов.

— В небо. Ну!

Мамырканов прикладывает винтовку к животу, нажимает двумя пальцами на спусковой крючок, грохает вы-

стрел, и... Мамырканов сидит на земле, растерянно оглядываясь:

— Толкается.

Наступает неловкое молчание.

«И этот солдат, — думаю я, — стоит на посту возле командного пункта роты!»

— Ты видал такого? — спрашивает у меня Веселков. — Откуда он такой взялся на нашу голову?

Я сердито смотрю на него. Впрочем, Веселков не виноват. Мамырканов прибыл к нам с пополнением, когда мы были на марше. По профессии он чабан, пас колхозные отары, мобилизовали его уже во время войны и направили в строительный батальон. Там ему вручили лопату, кирку, топор, и Мамырканов начал строить в тылу мосты, чинить разбитые бомбами, снарядами, гусеницами тягачей и танков дороги. Дуло карабина, который был вручен ему вместе с лопатой и киркой, он обернул, по примеру других, тряпочкой, в тряпочку же завернул и патроны в подсумке. Стрелять ему было некогда да и не в кого. Но вот однажды во время налета фашистской авиации Мамырканов был ранен, попал в госпиталь, откуда и прибыл к нам вместе с бывалыми солдатами. Он тоже выглядел «бывалым» — имел ленточку за ранение. Веселков тут же зачислил его ездовым и назначил часовым на КП. Я знал, что в охрану командного пункта офицеры обычно стараются выделить тех солдат, которые подходят к поговорке: «На тебе, боже, что нам не гоже», но чтобы до такой степени было не гоже! Кто бы мог подумать, что Мамырканов даже не умеет стрелять!

Меняем часового, вызываем из первого взвода сержанта Рытова — стройного, смуглого, чернобрового двадцатилетнего парня, прекрасного пулеметчика.

— Рытов, — говорю я, — научите Мамырканова. Он даже стрелять не умеет.

— Есть научить, — отзывается он. — Разрешите взять во взвод?

— Берите.

— Пошли, — обращается он к Мамырканову, кивнув

на дверь, и, круто повернувшись, щелкнув каблуками, выходит из блиндажа.

Вскоре Макаров принимает у Мамырканова зачеты по материальной части оружия и по стрельбе в цель. Докладывает:

— Оружие знает хорошо, стреляет посредственно.

Мамырканов снова занимает пост возле КП.

— Ну, вот, — говорю я ему. — Теперь и в разведку можно идти.

Он печально, через силу улыбается в ответ, и я понимаю — Мамырканову никак не хочется в разведку.

— А я гранаты не умею бросать, — сообщает он.

— Иван, — говорю я. — Ну-ка, научи Мамырканова гранаты бросать.

— Есть. Какие прикажете?

— Все: РГД, Ф-1, противотанковые. Все.

Иван рассовывает гранаты по карманам и уводит с собою перепуганного Мамырканова. Скоро в дальнем конце оврага раздаются взрывы. Вернувшись, Иван докладывает:

— Рядовой Мамыркан изучил уси гранаты и готов идти в разведку.

Мамырканов стоит тут же и — как мне кажется — уже придумывает новую отговорку. Я с любопытством смотрю на него: что еще не умеет он делать?

— По-пластунски ползать не умею, — сообщает он час спустя, заглянув в дверь.

Довольно основательная причина, чтобы не идти в разведку. Но уметь ползать по-пластунски полезно каждому солдату. Поэтому я без особых душевных содроганий наблюдаю такую картину: посреди оврага ходит сержант Фесенко, а возле него, пыхтя, ползает Мамырканов. Он норовит передвигаться на коленках, но Фесенко неумолимо требует своего: ползти по земле, распластавшись на ней всем телом, и Мамырканов постигает эту сложную науку.

Рядом со мною стоит Иван Пономаренко и комментирует каждое движение Мамырканова:

— От же гарный разведчик получается с тебя. Ползаешь, як тот... як его... краба.

XIII

Иван Пономаренко — личность примечательная. Родом он «из-пид Балаклеи» — чудесного украинского городка, славящегося своими вишневыми садами. Иван высок ростом, ладно, прочно скроен, имеет крупные, красивые черты лица, широкие черные брови, мягкий, добродушно-лирический характер. Он мой ровесник, однако относится ко мне с некоторым заботливым снисхождением, как старший брат. Вероятно, это потому, что он на голову выше меня и раза в три сильнее.

Иван весел, общителен, и как-то так получилось, что все у нас, полюбив его, стали звать лишь по имени. Фамилия его не то, чтобы забылась совсем, а просто лишней оказалась в обращении с ним. И однажды Иван воспользовался этим.

Раза два в неделю он брал мешок под мышку и отправлялся к старшине за продуктами. Подвезти кухню к оврагам было невозможно, и все, кроме артиллеристов и минометчиков, получали сухим пайком. Часть продуктов сухим пайком получали и мы на КП, повара приносили нам только обед.

Путь Ивана лежал лугом, потом мимо спаленной дотла деревни Дурнево, где стояли наши пушки ПТО, мимо минометчиков, притаившихся в овраге. До старшины от минометчиков было еще километра полтора полем. Старшина стоял со своим обозом на лесной опушке, даже для лошадей вырыв блиндажи с накатом.

Все, что произошло в тот день, я узнал позднее, когда ко мне прибежал разъяренный и сконфуженный лейтенант Ростовцев.

Собираясь к старшине, Иван попросил Шубного соединить его с минометчиками. Было часов двенадцать дня, на КП, кроме них, никого не было.

— Слухай, — сказал Иван в трубку. — До вас пий-

шов Пономаренко. Приготовьтесь, — и тронулся в путь.

Ростовцев в это время спал. Дежурный, разбудив его, сообщил:

— Товарищ лейтенант, к нам идет Пономаренко.

— Кто?

— Пономаренко, сейчас Иван звонил.

«Пономаренко... — стал припоминать Ростовцев. — Командир батальона Фельдман, командир дивизии Кучерявенко. Кто же такой Пономаренко?» Он перебрал в памяти все фамилии: и начальника политотдела дивизии, и командующего армией, и члена Военного совета... Нет, не было среди них такого, с фамилией Пономаренко.

Ростовцев позвонил на КП.

— Слушай, — спросил он у Шубного, — когда ушел Пономаренко?

— Только сейчас, — последовал ответ.

Ростовцев был человеком деловым. Он не мог допустить, чтобы его застали врасплох.

— В ружье! — крикнул он.

— В ружье! — заорал на весь блиндаж дежурный, и пару минут спустя у минометчиков уже шла спешная подготовка к встрече Пономаренко: брились, подшивали чистые подворотнички, драили минометы, подметали огневую...

А Иван в это время не спеша продвигался в своем направлении, даже не предполагая, что из-за него поднялась такая суматоха.

Стоял тихий, безмятежный полдень, в небе, словно растаяв в нем, верещали жаворонки, под ногами, плутая в сочной траве, гудели пчелы. Куда спешить в такой полдень? Иван зашел во взвод ПТО, «побалакив трохи» со своими дружками, угостился табачком и побрел дальше.

К минометчикам он прибыл, когда у них все блестело и сияло, как в праздник.

У Ивана и среди минометчиков было немало дружков, с ними тоже нужно было и побалакать, и выкурить по цигарке. Он уселся на лавочке возле входа в блиндаж,

вытащил из кармана кисет с махоркой. Оглядываясь по сторонам, сказал:

— Дывысь, який добрий порядок наведен. Мабудь, генерала ждете или еще что...

— Так поверяющий должен прийти, — ответили дружки. — Ты же сам звонил.

— Який поверяющий? — недоверчиво покосился на них Иван.

— Пономаренко или еще как... Вон, спроси у лейтенанта.

Но Иван не стал расспрашивать Ростовцева. Больше того — у Ивана вдруг пропала всякая охота и к разговорам, и к цигарке. Он неожиданно вспомнил, что ему надо спешить, и, ссыпав табак обратно в кисет, отправился «до старшины». Но тут его окликнул Ростовцев:

— Иван, скоро к нам Пономаренко придет?

— Та вин вже був, — сказал Иван издалека.

— Как это «був»?

— Це я — Пономаренко.

— Ты?

— Ага ж...

— Ты-ы? — Ростовцев даже побелел от злости. — Так какого ты черта всех нас поднял на ноги?!

— Та я ж, товарищ лейтенант, тильки казав, що до вас пийшов Пономаренко.

— А чтобы мы приготовились, ты не «казав»?

— Та казав...

И вот Ростовцев стоит передо мной и с негодованием требует от Ивана сатисфакции.

Но наказывать ординарца я не в состоянии. За что? За то, что минометчики забыли его фамилию и приняли за какое-то высокое начальство?

Иван виновато входит в блиндаж и, забравшись в угол, начинает с излишним усердием рыться в мешке, выгружая из него банки, фляги, кулечки...

— Вот полюбуйтесь на него! — говорит Ростовцев, кивая в сторону Ивана.

— Та я ж, товарищ лейтенант, ничего такого и не ка-

зав! — оправдывается тот, выпрямившись, и, не в силах, видно, скрыть лукавой улыбки, отворачивается.

— А что, командир! — говорит Макаров, обращаясь ко мне. — Надо будет минометчикам благодарность объявить. Порядок у них там сейчас такой, что... — Он даже не находит слов, чтобы объяснить, какой у минометчиков порядок, и спрашивает у Ростовцева: — Хороший порядок наведен?

Тот, смеясь, машет рукой, садится, закуривает.

— Благодарность надо не минометчикам все-таки, а Ивану объявить, — говорит Веселков.

— Та ни, мени ничого не надо! — отзывается Иван из угла.

Все мы смеемся. Смеется и Ростовцев.

— Ну, Иван, — грозит он пальцем, — пройди только теперь со своим мешком мимо нашего взвода. Тебе теперь по болоту нас обходить придется, а то солдаты об тебя все банники обломают. Я заступаться не стану, так и знай!

Иван выходит на улицу, и я слышу, как он разговаривает возле дверей с Мамыркановым.

— Тебе попало, да? — участливо спрашивает Мамырканов.

— У-у-у, — тянет Иван. — Ще как!

— Что теперь будет? В разведку тоже будут посылать? — в голосе Мамырканова чувствуется ирония.

— А ще кого? — недоверчиво спрашивает Иван.

— Меня.

— Та нужен ты у разведки, як то... як его...

— Как не нужен? Как не нужен? — с беспокойством спрашивает Мамырканов. — Пластунски ползать умеем, да? Гранаты кидаем, да? Винтовка стреляем, даже мишень попадаем. Как не нужен?

— А як колени затрещать, так шо с тобой будем робить? Смазку, чи шо?

— Никакой смазка не нужна. Коленка трещит, как сухой сучок, очень слышно? Я ночи думал, пять ночей думал — разведка надо идти. Все забыл, жалость детям

забыл, как теперь ты можешь сказать, не нужен Мамырканов?

— Годи, — снисходительно замечает Иван. — Як мене будут посылать, то я за тебя спрошусь. Очень ты сподобався мне.

XIV

За все время, что мы стоим в «Матвеевском яйце», я ни разу не покидал передовой. А надо было проверить, как устроились артиллеристы, минометчики, старшина. Созвонился с командиром батальона, и тот, подумав, разрешил:

— Если все спокойно, можешь часика на два отлучиться.

Кажется, пока спокойно. И вот мы с Иваном шагаем по полю (без него я бы и дороги не нашел к старшине). Прошли минометчиков, артиллеристов. Под ногами — давно не езженная, заросшая травой, проселочная дорога. Удивительно все-таки, как хорошо даже в двух километрах от переднего края. Я сломал ивовый прутик, щелкаю им по травинкам, прутик легонько посвистывает. Тепло. Солнечно. Зелено кругом. Входим на опушку леса, сворачиваем влево. Здесь стоит с обозом старшина. У него идеальный порядок. Дорожки посыпаны песком, повозки с задранными дышлами выстроились под навесом. Под другим навесом — две походные кухни, там же сложена печь, выбеленная известкой.

При входе в хозяйство старшины стоит на посту ездовой Дементьев. Давно я не видел этого старательного, опрятного солдата.

— Здравствуйте, Дементьев!

— Здравствуйте, товарищ капитан! — радостно улыбается он.

— Где старшина?

— В землянке.

Иду дальше, думаю: «Молодец старик, хорошо, прочно устроился».

Однако не успеваю сделать пяти шагов, как замечаю

второго часового: с винтовкой в руках стоит повар Гафуров. Маленький, смешливый, смотрит на меня круглыми, как у птицы, карими глазами, щурит их, губы шевелятся, готовые растянуться в улыбке. Гафуров старается придать лицу строгое выражение, а не выходит у него это.

— Ты что стоишь? — спрашиваю у него.

— Не знаю.

— Как это не знаешь?

— Старшина велел стоять.

— Та воны уси на посту! — удивляется Иван. — Мабуть, диверсанты напали, чи шо?

И тут я замечаю, что кругом—и возле повозок, и возле кухонь — всюду стоят с винтовками ездовые, писарь, каптенармус, оружейник и даже Киселков.

— Что у вас тут творится? — спрашиваю я у писаря Кардончика. — Почему вы все на карауле?

Тот пожимает плечами:

— Такое распоряжение старшины.

— И давно вы так?

— Уже, наверное, будет полчаса.

Старшину я нашел в землянке. Он без гимнастерки, рукава нижней рубашки закатаны по локоть, в руках у него лопата. Старик роет посреди землянки яму. Она уже довольно глубокая, чуть не по пояс ему.

— Ты что роешь, клад ищешь?

Бросив лопату, старик вылезает из ямы. Садимся на нары, закуриваем.

— Я для нашего батальонного юбилея, как ты приказал, водку спрятал, а они, паразиты, — он кивнул на дверь, — стащили у меня целую флягу.

— Кто?

— А поди узнай! — устало машет он рукой. — Я их всех обнюхал, ни от кого не пахнет, а водка пропала.

— От паразиты! — всплескивает руками Иван.

— Но может быть, никто ничего и не брал, — говорю я.

— Ну да, не брал! Ты, командир, не заступайся за них. Я заметку сделал, отлили.

— А яму зачем роешь?

— Я в нее водку сейчас закопаю.

Теперь я начинаю понимать, почему все его люди стоят на посту. Ему нужно, чтобы никто не знал, где будет спрятана водка.

— Ну и хитер ты!

— Стар, потому и хитер.

— Давай я трохи покопаю, — говорит Иван, берясь за лопату.

— Хватит, — старшина оценивающе осматривает яму. — Можно закапывать.

Я сижу на нарах, гляжу, как Лисицын и Иван топчутся посреди блиндажа, утрамбовывают песок. Сзади меня останавливается незаметно вошедший Станкович.

— Чем вы тут заняты? — вдруг спрашивает он.

Я хочу доложить, но он перебивает меня, садится рядом на нары. Я объясняю:

— Пол делают плотнее.

— Что-то вы хитрите, — говорит Станкович, оглядываясь. — Впрочем, это ваше дело, только пол вам скоро будет не нужен, я так думаю.

— Завтра? — спрашиваю я, понимая, о чем он говорит.

— Догадливый какой! — смеется он.

Мы выходим из блиндажа, садимся на пни невдалеке от входа, он рассказывает: наступление назначено на послезавтра, на восемь часов утра. После сорокаминутной артобработки переднего края в дело вступит пехота: два стрелковых батальона пойдут на Матвеево с флангов.

Станкович начинает расспрашивать, все ли у меня готово к этому, а я, отвечая, думаю: «Вот и кончилось наше сидение в оврагах. Немцы-то даже ни разу и не сунулись к нам. Очень все благополучно обошлось, как говорят, без скандала...»

— Чему ты улыбаешься? — спрашивает Станкович. — Рад, что от оврагов легко отделаешься? Ты еще до послезавтра доживи. Гляди, как бы немцы самого не утащили.

— Доживем, — отвечаю, — доживем. Не утащат!

Когда я полчаса спустя возвращаюсь на передний край, меня обгоняет зеленый, в пятнах камуфляжа, автофургон и сворачивает в лес. Это опять прибыла агитмашина. В кабине рядом с водителем сидит важный майор Гутман. Увидев его, я отворачиваюсь, чтобы не встречаться с ним глазами.

XV

В ту ночь Макарову нездоровилось, он лежал, кутаясь в шинель, на нарах возле печки. На переднем крае шла обычная ночная перестрелка, везде было спокойно, только против Лемешко фашисты вот уже час не стреляли и не светили.

— Внимательнее посматривай, — говорил я, то и дело соединяясь с Лемешко по телефону. — Сам свети чаще.

— Посматриваем, посматриваем, — отвечал он.

Ночь была темная, душная. Неслышно наползла туча, пошел дождь. Вдруг за окном ухнуло раз, другой, сверкнуло белым светом.

— Гроза, — сказал новенький артиллерист, покосившись на окошко.

— Черта лысого! — прислушиваясь, отозвался Веселков. — Снаряды.

Да, это были снаряды. Вот один из них разорвался где-то над головой, блиндаж встряхнуло, с потолка посыпалась земля. Шубный защелкал рычажками коммутатора, захрипел, вызывая взводы.

Отозвались все, кроме старшины Прянишникова: должно быть, перебило провод.

Снаряды ложились густо. По взрывам чувствовалось, что стреляют из орудий разных калибров. Беглый огонь, который вели фашисты, был сосредоточен по взводу Лемешко, КП роты и полосой шел до пушек ПТО. Порвалась связь с минометчиками, и как раз в это время санинструктор Хайкин, сидевший у Лемешко на телефоне, доложил:

— На нас идут в атаку.

Артиллеристы бросились к своим рациям. Вбежали два телефониста, крикнули Шубному:

— Порывы есть?

— Второй не отзывается, минометчики...

Телефонисты скрылись за дверью. Макаров схватил ракетницу, выбежал вслед за ними, выстрелил вверх тремя зелеными и одной красной — вызвал заградительный огонь.

— Огнев, — приказал я по телефону, — прикрой Лемешко всеми пулеметами!

— Уже работают, — ответил он. — Работают.

— Бей, не прекращай огня. Сомов, — вызвал я четвертый взвод, — как у тебя?

— Пока тихо.

— Смотри внимательнее! Вышли на подмогу Лемешко расчет ручного пулемета. Срочно!.. Хайкин, Хайкин,— звал я санинструктора. — Что у вас?

— Я один в блиндаже, все в траншеях. Идет бой.

— Наша артиллерия заработала, — вернувшись, сказал Макаров и крикнул на улицу: — Мамырканов, быстро в блиндаж! Что ты там под снарядами стоишь!

Вошел Мамырканов, мокрый, с встревоженным, бледным лицом, скромно сел на нары возле двери, поставив винтовку меж ног, Макаров схватил автомат, стал торопливо рассовывать по карманам гранаты.

— Я иду к Лемешко. Сейчас пробежали пулеметчики от Сомова.

— Иди, Иван! Во второй взвод, бегом. Передай приказ: прикрыть Лемешко справа всеми пулеметами... Хайкин, Хайкин! Что у вас?

— Идет бой.

Возле нашего блиндажа разорвался тяжелый снаряд. Вылетело стекло, с треском распахнулась дверь, блиндаж зашатался, заскрипел, лампа погасла. Остро запахло фосфором. Провизжали осколки. Шубный зачиркал спичками, зажег лампу.

— Хайкин, Хайкин! Что у вас?

Но Хайкин уже не отвечал.

— Хайкин, Хайкин!

Молчание. Я дул в трубку, встряхивал ее в руке.

— Хайкин!.. — Как мне нужно было сейчас услышать его голос!

Вдруг мне показалось, что там, на другом конце провода, крикнули: «Хальт!»

Я положил трубку на стол. Показалось или я в самом деле услышал этот характерный для немцев окрик? Если так, то немцы ворвались в блиндаж... Значит... Но я не хотел, не мог этому верить. Я не мог себе представить, что взвод Лемешко — чудесные, смелые люди уничтожены, перебиты врагом, что враг уже хозяйничает в нашей траншее.

Вбежал Веселков.

— Как там? Вся батальонная артиллерия и дивизион соседей работают на Лемешко, рев стоит.

В ночном бою очень большое, почти решающее значение имеет внезапность. Ночь хороший помощник тому, кто умеет нападать неожиданно и смело. Ночью, да еще такой темной, с дождем, как сейчас, легко подобраться к самым траншеям, ворваться в них. О том, что егеря, стоявшие передо мной, умеют нападать внезапно, я знал давно. Еще в прошлом году они вырезали в 136-й дивизии целый взвод, стоявший в боевом охранении: проглядели наши солдаты, не заметили вовремя, как немцы подбираются к ним, и поплатились жизнями. Какими силами напали теперь фашисты на Лемешко? На каком расстоянии от траншей он успел заметить их и когда открыл огонь?

Батальоны такого типа, как наш, были созданы для системы укрепленных районов, то есть для боя оборонительного, а не наступательного. Так как предполагалось, что мы должны сидеть на одном месте, нам было дано много отличной боевой техники, но у нас было чрезвычайно мало людей. Весь расчет строился на огневой мощи наших пулеметов и пушек. Боевое крещение мы получили на Волге в районе Селижарова, в дотах. С тех пор,

как был оставлен этот район, мы уже воевали наравне со всеми пехотными частями. Мы не участвовали в атаках, а только поддерживали их своим огнем. Каждому ясно, почему нас не посылали в атаки: на станковый пулемет системы «Максим» у нас полагалось всего четыре человека, а это по сравнению с обычным расчетом вдвое меньше. Если в оборонительном бою эта разница совсем никак не ощущалась, нам хватало и четырех человек на пулемет, то в наступлении, где нужно было тащить и станок, и тело, и коробки с лентами, мы оказывались совершенно непригодными.

У Лемешко было людей в обрез и даже меньше. Взвод имел на своем вооружении два станковых и два ручных пулемета, но для их обслуживания полагалось двенадцать человек. Тринадцатым значился сам командир взвода. Это по штатному расписанию. Но у нас были больные, убитые и раненые, и в результате этих потерь у Лемешко вместе с ним было уже не тринадцать, а лишь восемь человек. А обороняли эти восемь человек участок в триста метров. Правда, вместе с ними в окопах находились еще прикомандированные к взводу два солдата с ружьем ПТР, артиллерийский наблюдатель и санинструктор Хайкин. Но эти люди выполняли свои специальные обязанности, и оборона участка все же в основном возлагалась лишь на пулеметчиков. Кто же были эти восемь человек?

Лейтенант Лемешко, донбассовец, смелый, веселый, хитроватый, прибыл к нам еще в сорок первом году под Селижарово прямо из госпиталя. Войну он встретил на границе, где был легко ранен в руку. Мне нравилась его невысокая, немного угловатая, кряжистая фигура, небольшие, зеленые, всегда прищуренные в улыбке глаза. Не было случая, чтобы он на что-нибудь пожаловался, у него всегда было хорошее настроение, он шутил даже тогда, когда другие вешали носы.

Люди во взводе подобрались под стать командиру — смелые, веселые, здоровые. Выделялся среди них сержант Фесенко, харьковчанин, металлург, носивший большие,

лихо закрученные русые усы. Стройный, худощавый, ловкий, он отлично исполнял обязанности и командира первого отделения и помощника Лемешко.

Командиром второго отделения был сержант Важенин, один из лучших пулеметчиков роты: никто, кроме младшего лейтенанта Огнева и старшины Лисицына, не мог быстрее его разобрать и собрать замок пулемета, найти и устранить задержку. Высокий, слегка сутулящийся, веснушчатый, курносый парень, он мечтал поступить в офицерское училище и уже много раз при случае доверительно спрашивал у меня, стоит ли ему поступать туда, так как боялся, что настоящего офицера может из него и не получиться. Дело в том, что у Важенина был очень мягкий, уступчивый характер. Лемешко говорил, что с таким характером только девкой хорошо быть. Мы с Лемешко однажды долго обсуждали будущее Важенина и решили, что он, конечно, может пойти в военное училище, только не в строевое, а в техническое, потому что командовать людьми с таким мягким характером он совершенно не годится и даже со своим отделением, в котором у него только младший сержант Челюкин и солдат Панкратов, не может справиться и старается все сделать за них сам, лишь бы они были довольны. Важенин стеснялся командовать Панкратовым потому, что у того, маленького, носатого, который, как заверял Лемешко, даже спал с огромной обгорелой трубкой во рту, сыновья были ровесниками сержанту. Сыновья его были близнецами, и один, танкист, служил на Первом Украинском фронте, а другой, сапер, воевал на Карельском перешейке. Они писали Панкратову боевые письма, вроде: «Бей, отец, врага, не щади фашистскую нечисть, топчущую своими грязными сапогами священную нашу землю. Мы вчера... (Тут шло перечисление, в каком бою вчера участвовали саперы или танкисты, сколько они уничтожили врагов, а потом и конец письма.) До полной победы, до скорой встречи в Берлине, отец!» Сыновей своих он очень любил, называл: «Мои богатыри». Судя по фотографиям, богатыри были все в него — маленькие, носа-

тые, должно быть, такие же деловитые и с чувством собственного достоинства.

Другой солдат этого взвода, Трофимов, принадлежал к тем веселым, беспечным неудачникам, на которых все шишки валятся, а они только улыбаются в ответ и озадаченно разводят руками, говоря при этом: «Гляди ты! Я хотел как лучше, а вышло как хуже!» Одно время он был у Лисицына в ездовых, но у него постоянно рвались постромки, вожжи, подпруги, ломались дышла, и он в конце концов даже сам запросился, чтобы его освободили от этой трудной должности. Единственным человеком в этом взводе, которого я знал еще мало, был солдат Ползунков, безусый парнишка, совсем недавно попавший на передний край и поглядывавший на все глазами доверчивого, любознательного ребенка. Новая шинель еще даже не прилеглась к нему как следует и топорщилась на спине коробом.

Вот эти солдаты и сержанты бились сейчас с немцами, а я не знал, что у них там творится, а главное — ничем не мог им помочь. Правда, кроме них, в окопах находились еще два солдата с ружьем ПТР, артиллерийский наблюдатель и санинструктор Хайкин. Петэзровцы были люди пожилые, степенные, серьезные, до того привыкшие ходить парой, неся свое ружье на плечах, что даже когда были без ружья, все равно шли в затылок. Сейчас в ночном бою от их ружья, пожалуй, было мало проку. Столько же проку было и от артиллерийского сержанта, вооруженного наганом. Санинструктор же умел лишь накладывать повязки да проверять рубахи на вшивость. Лемешко правильно сделал, оставив его возле телефона. Но телефон молчал. Что там у них произошло? Подоспели ли пулеметчики от Сомова, Макаров? Ничего этого я не знал. Больше того, мне ясно послышалось, что там кто-то крикнул: «Хальт!»

Но если немцы действительно ворвались в окопы, надо принимать меры. Какие? Какие меры? Я мог бросить еще один ручной пулемет от Сомова, да два резервных ружья ПТР, да двух часовых. Вот и весь мой резерв,

все, чем я мог маневрировать. Но разве этого достаточно?

— Хайкин, Хайкин!.. — хрипел Шубный.

Молчал Хайкин. А может быть, взять людей от Сомова, петээровцев, снять часовых от КП и самому ринуться туда? Нет, это тоже не годится. Я не знаю, что у них произошло, не знаю, что может случиться через минуту, через секунду на других участках. Уйдя с КП, я потеряю управление не только этим взводом, но и всей ротой.

— Вызывай батальон! — крикнул я Шубному.

— Батальон на проводе.

Я взял трубку. У телефона был начальник штаба военный инженер Коровин. В штабе уже знали, что у нас идет бой. Знали об этом и в дивизии. Это Кучерявенко, оказывается, распорядился «подключить» ко мне артдивизион. Коровин сообщил, что генерал выслал ко мне на машинах взвод автоматчиков. Я воспрянул духом. Автоматчики должны прибыть с минуты на минуту. Мы, конечно, с их помощью быстро восстановим положение, и если немцы действительно ворвались в траншеи, вышвырнем их оттуда. Неужели уже нет в живых ни Лемешко, ни Фесенко, ни Важенина и уже где-нибудь валяется ставшая ненужной хозяину обгорелая трубка Панкратова, а добродушный неудачник Трофимов в последний раз развел руками, удивленно проговорил: «Гляди-ко, а меня, кажись, опять ранило!» — да и умолк навсегда?..

...У Лемешко, как это выяснилось позже, случилось вот что. Лишь только немцы перенесли огонь своей артиллерии в глубь обороны, солдаты выбрались из укрытий. Один санинструктор Хайкин остался в блиндаже возле телефона. Взвилась ракета, ночь раздвинулась, стало ослепительно ярко, и солдаты увидели немцев, подползавших к окопам. Сержант Фесенко кинулся к станковому пулемету, выкатил его на открытую площадку, перезарядил, но... выстрелов не было. В спешке, волнуясь, он неровно передернул ленту, и пулемет не сработал. Взлетела вторая ракета, третья. Немцы были уже близко, бросок — и они в траншее. Фесенко схватил противотанковую гранату и, пока Трофимов устранял задержку, заорав что



есть силы: «Немцы-и-и!» — швырнул гранату за бруствер, схватил вторую.... Гранат под руками было достаточно, а тут, наконец, ударил и перезаряженный пулемет.

Лемешко стоял в центре окопа, возле входа в блиндаж, пускал ракеты. Он увидел — фашисты ползли к окопам с трех сторон. Справа уже ухали гранаты, свирепо стучал «Максим». Рядом с Лемешко заработало еще два пулемета, но слева стрельбы не было слышно.

— Огонь, огонь! — кричал Лемешко. — По фашистам огонь!

Он бросился к левому флангу и — вовремя: навстречу ему бежал Ползунков. Наткнувшись на командира, задыхаясь, Ползунков шептал: «Немцы, немцы, немцы...» Он с перепугу даже кричать не мог, охрип. Лемешко схватил его за плечи, встряхнул:

— Назад!

На бруствер, там, где лежал ручной пулемет, брошенный Ползунковым, вскарабкался немец с автоматом в руках, встал во весь рост, готовясь спрыгнуть в траншею. В руках у Лемешко была все та же ракетница. Недолго думая, он прицелился и выстрелил в лицо фашисту. Тот, опаленный, ослепленный ракетой, выронил автомат, схватился руками за голову и, дико завизжав, завалился навзничь. Лемешко подтолкнул Ползункова к пулемету, приказал:

— Огонь, мать твою так, огонь! — и в это время увидел сидящего на дне окопа ефрейтора Огольцова. Он сидел, привалившись спиною к стенке, уронив на грудь голову. Лемешко выхватил пулемет у Ползункова, приказал:

— Скорей за санинструктором!—но стрелять не стал: рядом уже стреляли запыхавшиеся пулеметчики от Сомова.

Лемешко медленно пошел, перелезая через обвалы, вдоль траншеи, крепко сжимая ракетницу подрагивающими от волнения пальцами.

На него уже работал весь передний край. Скрещиваясь в центре, перед его окопами летели рои трассирующих

пуль: это справа и слева прикрывали его огнем станковых пулеметов Огнев и Прянишников. Шатая землю, рвались снаряды и мины — били наши батареи.

Он подошел к сержанту Важенину, станковый пулемет которого стоял в центре траншеи, немного выдвинувшись вперед. Важенин только что кончил стрелять, вытер ладонью, вымазанной сырой землей, пот со лба. Петээровцы, сидя на дне окопа, переругиваясь, торопливо набивали ленты патронами. Рядом с Важениным стоял артиллерийский разведчик с наганом в руке.

— Как дела? — спросил Лемешко, приложив руку к кожуху пулемета, и тут же отдернул ее: кожух был горяч, как поспевший самовар.

— Все в порядке, товарищ лейтенант, — ответил Важенин. (На него в этом бою пришелся основной удар врага.) Он улыбнулся: — Станковый пулемет системы «Максим» неприступен, пока есть в лентах патроны и жив хоть один пулеметчик. — Он помолчал, еще раз вытер пот со лба. — А мы все живы и патронов хватит.

— Смените воду, — сказал Лемешко.

— Сделано, товарищ лейтенант.

Лемешко молча пожал ему руку и пошел в блиндаж.

Как раз в это время Шубный, упорно, хотя и безуспешно вызывавший взвод Лемешко, закричал:

— Хайкин отвечает!

Я схватил трубку:

— Хайкин, черт бы тебя драл, почему не отзывался?

— Раненого перевязывал. Вот лейтенант вошел.

— Кто кричал «хальт»?

— Никто...

Трубку взял Лемешко.

— Ну что, дружище, как у тебя дела?

— В порядке. Откатились.

...Сколько времени длился этот бой? Я посмотрел на часы. Было полчаса третьего, а артналет начался без четверти два. Сорок пять минут! А мне казалось — вечность.

XVI

Наступал рассвет.

Когда я пришел к Лемешко, он стоял в накинутой на плечи шинели и вертел в руках фашистскую пилотку.

— Трофей, — усмехнувшись, сказал он и швырнул пилотку за бруствер, туда, где лежало несколько убитых фашистских солдат.

Сержант Фесенко уже лазил к ним, вывернул наизнанку все карманы, но кроме порнографических открыток, обнаружить ничего не удалось. А жаль. Документы кое-что могли бы рассказать.

— А где открытки?

— Порвали, — ответил Лемешко и сплюнул.

— Кто же все-таки кричал у вас «хальт»?

— Никто.

— Чепуха какая-то. Мне по телефону ясно послышалось, что крикнули «хальт»!

Лемешко задумчиво поднял воспаленные бессонницей, усталые глаза, поправил на плечах шинель и сказал:

— Это, наверно, Ползунков кричал. Я послал его за Хайкиным, а Ползунков выговаривает его фамилию Хальткин, он заорал в дверях... Как ты вызывал санинструктора? — обратился он к Ползункову, чистившему неподалеку от нас пулемет.

— Забыл, товарищ лейтенант, — виновато ответил тот, перестав заниматься с пулеметом. — Наверно, Хальткин.

Да, наверно, так оно и было.

— Что же ты подкачал в бою? — спросил я. — Немцы-то чуть в траншею из-за тебя не ворвались.

— Виноват, испугался я. Как ефрейтора ранило, я и испугался один... прямо на меня лезут...

— Не обстрелян еще, — проговорил Лемешко. — Это же его первый бой был. Теперь не подведет.

Подбежал сержант Фесенко.

— Там, товарищ капитан, под обрывом немец лежит, сдается, что живой. Еще недавно его там не было, а теперь лежит.

Мы направились вслед за ним к правому краю траншеи. Там стоял Важенин, высунув перископ, всматривался.

Метрах в двухстах от нас, на другой стороне оврага, находился немецкий дзот. От нас спуск в овраг был пологий, с немецкой — крутой, почти отвесный. Весенняя вода подмыла землю, она осела, оползла, оборвалась. Там, под обрывом, ткнувшись лицом в песок, выбросив вперед руки, лежал немецкий солдат.

— Я все время смотрел в ту сторону — никого не было, — стал торопливо, с таинственным видом объяснять Фесенко, — а как только сходил воды попить, вернулся, гляжу — лежит. Приполз, стало быть, а дальше сил не хватило.

Взять «языка», даже раненного, было бы неплохо. Однако сейчас не стоило и думать об этом. Фашисты следили за нами и даже по перископу стреляли из пулемета.

— Не упускайте его из виду, — сказал я. — Ночью мы его возьмем.

— Кто пойдет за ним? — спросил Лемешко.

— Я разведчиков вызову.

XVII

Они должны были прийти засветло, чтобы сориентироваться. Так во всяком случае говорил начальник штаба батальона. Пленного приказали доставить прямо к Кучерявенко. Однако наступила ночь, а разведчиков не было.

— Слушай, капитан, может, мы его сами утащим? — предложил Макаров.

У меня, признаться, тоже мелькнула такая идея, но кого послать? За немцем, конечно, должен пойти кто-то из третьего взвода. Предположим, это будет сержант Фесенко, человек опытный, смелый и ловкий. Но больше от Лемешко никого не возьмешь, у него и так народа в обрез. Я посмотрел на Ивана Пономаренко.

— Как, Иван, насчет того, чтобы немца притащить?

— Того, шо раненный?
— Да.
— Зараз. Кто ще пийдет?
— Фесенко.
— И Мамыркан, — подсказал он. — От мы его утрех зараз дотащим.

Я задумался над третьей кандидатурой. Мамырканов... Впрочем, это был уже совсем не тот Мамырканов, который прибыл к нам когда-то. Я до сих пор глубоко убежден, что даже хорошо обученный в тылу боец лишь тогда становится настоящим солдатом, когда пообботрется среди бывалых фронтовиков, поживет на переднем крае. Мамырканов именно «пообтерся». Как мужественно держался он прошлой ночью под артобстрелом!..

— Пойдет Мамырканов. Вызови его ко мне.

Иван, очень довольный за своего друга и воспитанника, помчался в землянку связистов, где жили часовые КП. Скоро Мамырканов, заспанный, стоял возле моего стола, щурился, склонив голову набок.

— Так что, Мамырканов, пойдешь за «языком»?
— Есть, товарищ капитан, пойти за «языком».
— А как ноги? — улыбнулся Макаров.

Мамырканов посмотрел на свои ноги, пожал плечами:
— Уже не трещат, что такое?
— Ну, собирайся, живо, — сказал Макаров.

Через несколько минут он увел Ивана и Мамырканова, вооруженных автоматами, гранатами Ф-1 и ножами, во взвод Лемешко. Вызываю минометчиков, приказываю Ростовцеву быть готовым прикрыть отход нашей группы. Веселков с артиллеристом уходят к рациям, подготовить на всякий случай свои батареи. Пулеметы Прянишникова тоже будут прикрывать наших лазутчиков.

Макаров сообщает, что они поползли.
— Как немец? — спрашиваю его.
— Нормально: светит, стреляет.
— Пусть Лемешко постреливает над ними. Как спустятся в овраг, пусть над их головами постреливает.
— Это мы делаем.

Выхожу на улицу. Еще темно. На переднем крае слышится ночная перестрелка. Изредка взлетают ракеты. Где-то выстрелила пушка. Настораживаюсь. Нет, это не у нас, это у правого соседа. Даже едва слышно, как разорвался снаряд. Далеко. Смотрю на часы. Прошло уже пятнадцать минут, как уползли наши. Возвращаюсь в блиндаж, вызываю третий взвод, спрашиваю, как дела. Отвечает Лемешко:

— Все пока нормально, еще не вернулись.

— Следите внимательнее.

Снова выхожу на улицу. Курю папироску за папироской. Рядом стоит часовой. Молчим. Прислушиваемся. Кто-то, спотыкаясь, скатывается в овраг с противоположной стороны. Шуршит стронутая каблуками земля.

— Стой! Кто идет? — вскидывает винтовку часовой.

— Разведчики, — слышится из темноты.

Подходит тот самый щеголеватый лейтенант, сзади толпятся разведчики.

— Где вы пропадали? — спрашиваю их.

— С дороги сбились.

— Вы мне не нужны. Отправляйтесь обратно.

Наступает молчание. Нарушает его выскочивший из блиндажа Шубный:

— Товарищ капитан, немца принесли!

Бросаюсь к телефону. На проводе Макаров, голос у него торжественный.

— Немец доставлен. Ранен в грудь. Очень истек кровью. Хайкин делает перевязку.

— Быстро на носилки и в тыл.

Вызываю штаб батальона, прошу выслать к минометчикам санитарную машину.

Командир разведчиков стоит в дверях.

— Мы могли бы захватить немца с собой, — просительно говорит он.

— Вы его захватите сперва там, — киваю я в сторону переднего края, — а потом будете захватывать с собой.

— Мы же сбились с дороги и вообще...

— И вообще уходите отсюда с глаз долой. Вы что, первый раз шли ко мне, что сбились?

Лейтенант, круто повернувшись, уходит.

И тут же в блиндаж врываются возбужденные сержант Фесенко, Иван, Мамырканов.

— Задание выполнено, — докладывает Фесенко. — Пленный отправлен в тыл.

Поднимаюсь из-за стола, иду к ним навстречу.

— От лица службы благодарю вас за отличное выполнение задания.

— Служим Советскому Союзу! — отвечают они.

Громче и старательнее всех произносит эту торжественную фразу Мамырканов. У него такое радостное, сияющее лицо. Я жму им руки и, сам того не желая, крепче всех Мамырканову.

— Я его заберу отсюда на батарею, — вдруг говорит Веселков, словно отгадав, о чем я думаю. — Молодец солдат!

— Правильно, забирай, — соглашаюсь я.

XVIII

По условному сигналу — разрыву бризантного снаряда — ударила наша артиллерия. Несколько секунд стоял все нарастающий рев пушек, потом у фашистов начали гулко рваться пролетевшие над нами с характерным шипящим свистом снаряды, и когда в небе очень низко, казалось, что даже ниже, чем снаряды, тройками понеслись штурмовики, то наши сорокапятимиллиметровые пушки, выдвинутые в боевые порядки, только беззвучно и азартно подскакивали, а их выстрелов совсем не было слышно, хотя они все время вели беглый огонь по фашистским дзотам.

Массированная обработка немецкого переднего края длилась сорок пять минут, а потом стало известно, что двинулась пехота. День начинался жаркий, безоблачный, артиллерийская стрельба то затихала, то разгоралась, и

прошло уже больше часа, как вступили в дело стрелковые батальоны, а Матвеево все еще было у немцев.

Лишь к двенадцати часам наши все-таки прорвались в Матвеево, заняли его, и тут было приказано срочно войти в Матвеево моей роте.

Я стоял в полный рост на бруствере окопа. Мимо меня проходили пулеметчики. Они тащили коробки с лентами, ящики с гранатами и патронами и разобранные станковые пулеметы. По двое, положив, словно жерди, на плечи противотанковые ружья, прошли гуськом петэеровцы. Потные, с расстегнутыми воротами гимнастерок, прокатили на руках артиллеристы свои сорокапятки, наверно, еще не остывшие от стрельбы. Минометчики уже устраивались там, где раньше стоял Лемешко, и старшина прибыл в овраги со всем своим обозом. Потом пронеслись рысью четверки застоявшихся лошадей с дивизионками. Сзади бежали артиллеристы, и среди них был улыбнувшийся мне Мамырканов.

Матвеевский узел — довольно сложный и продуманно организованный участок обороны. Его, видно, создали с таким расчетом, чтобы отбиваться со всех сторон. Глубокие и удобные ходы сообщения были прорыты в разных направлениях и соединены между собой, а вместо блиндажей немцы закопали в землю целые избы.

Даже при неудаче наступления мы должны были удержать Матвеево в своих руках, и я развернул пулеметные взводы, усиленные ружьями ПТР, так, чтобы была круговая оборона, а в центре поставил все пушки для стрельбы прямой наводкой. Под КП Макаров облюбовал огромный блиндаж с бревенчатыми стенами и нарами в два этажа. Когда я обошел все взводы, уточнил с офицерами их задачи и спустился в этот блиндаж, там уже попискивала рация, и Шубный сопел за столом, проверяя телефонную связь. Иван доложил, что рядом обнаружен склад солдатского и офицерского обмундирования.

— Черт с ним, — сказал я.

Наступление продолжалось. Было слышно, как справа или слева от нас начинали кричать «ура» и поднима-

лась пулеметная и артиллерийская стрельба, потом все стихало, а через некоторое время опять кричали «ура» и стреляли. По всему видно — стрелковым батальонам приходилось туго. Говорят, у немцев появились самоходки. Положение осложнялось. Я опять собрался идти по взводам, но в блиндаж спустился начальник агитмашины майор Гутман и с ним невысокий, рыжий, веснушчатый немец.

— Здравствуйте, капитан, — приветливо сказал майор, и у него было такое веселое и радостное выражение глаз, будто он очень скучал все это время по мне и счастлив, что наконец-то мы опять встретились.

— Мне стало известно, что вы захватили целый склад обмундирования, — говорил он, крепко пожимая мою руку и улыбаясь. Немец стоял возле двери, кротко и вопросительно поглядывая на нас. Майор кивнул в его сторону: — Оденьте, пожалуйста, моего Августа, он весь оборвался.

Немец, услышав свое имя, печально улыбнулся. Обшлага и борта его коротенькой зеленой куртки совершенно обтрепались, а на локтях виднелись старательно, хотя и неумело пришитые заплаты; подметки порыжелых сапог были столь же старательно и неумело пришиты к головкам телефонным проводом.

— Август — славный парень, — говорил между тем майор Гутман, с улыбкой глядя на немца. — Он сам перешел на нашу сторону еще полгода назад и оказался очень хорошим агитатором.

Мне показалось, что майор потому так расхваливает своего Августа, что боится, как бы я опять не отказал ему. Но отказывать не было причины, к тому же майор сейчас понравился мне: стоило ему лишь забыть о своем высоком положении, как он стал славным человеком и с честью оправдывал свою фамилию.

— Пойдемте, — сказал я, чтобы сделать ему приятное, — пойдемте и выберем вашему Августу самое лучшее обмундирование.

Август начал торопливо примерять одну куртку за

другой, но ему все хотелось выбрать получше, и он просил майора посмотреть, как они сидят на нем, и пробовал, прочно ли пришиты пуговицы.

Наконец, обмундирование было выбрано, и Август, очень довольный, ушел вслед за майором, неся на руке новенькую офицерскую шинель. Только сапоги на нем были прежние, с телефонным проводом и рыжие. Но тут уж я ничем не мог помочь ему: на складе обуви не было. Майор, прощаясь, крепко пожал мне руку и сказал:

— А старое забудем, ладно? Как будто ничего и не было.

— Ладно, забудем, — согласился я.

XIX

К вечеру стало известно, что стрелковым батальонам больше не удалось занять ни одного опорного пункта и что немцы активизировались и все время переходят в контратаки. К ночи батальоны не выдержали и стали с боями отходить на исходные позиции, оголили мои фланги, и Матвеево оказалось в окружении. Оставалась только небольшая дорожка, с боем удерживаемая взводом уставших за день уже знакомых мне разведчиков, случайно свернувших в Матвеево при отходе левого соседа и оставшихся со мной.

Ночь была звездная, со стороны болота потянуло сыростью, а мы оставили свои шинели и плащ-палатки на прежней передовой, чтобы побольше захватить патронов, а потом сходить туда так и не удалось. Теперь стоило побыть в траншее минут десять, как начинал пробирать озноб.

Немцы лезли на нас со всех сторон. Минометы Ростовцева почти не прекращали огня. Над землей летели рои трассирующих пуль, то тут, то там слышалось «К бою! К бою! А-а!» — и начинали торопливо ухать гранаты, лихорадочно стучать «Максимы», тревожно взлетали осветительные ракеты. Только успевали отбиться у Лемешко,

как немцы бросались на Прянишникова, а потом на Огнева, потом снова на Лемешко и тут же на Сомова. У нас появились раненые. Во втором часу меня вызвал по рации командир батальона и запросил обстановку. Радиоволна была до предела забита голосами. На нее настроилась чуть ли не вся дивизия, и то один, то другой спрашивал, как у меня дела, и нам с комбатом не давали говорить. Кто-то очень настойчиво твердил:

— «Орел», «Орел», слушай меня, «Орел». Я «Меркурий», я «Меркурий», скажи, когда нужно будет огонька...

— Да иди ты... — вышел я из терпения. — Дай мне поговорить. Видишь, я занят.

— Напрасно, напрасно, «Орел», — тут же вмешался чей-то голос. Это был Кучерявенко. — «Меркурий» хороший друг, ты понял меня? Песенку знаешь, как девка на берег ходила да про тебя пела? Понял? Ответь «Меркурию».

«Выходила, песню заводила про степного сизого орла», — пронеслось у меня в голове. — «Катюши»! «Меркурий» — это тот молодой усталый майор!»

— «Меркурий»! — закричал я. — «Меркурий»!

— «Меркурий» слушает.

— Ошибка, ты мне будешь очень нужен.

— Жду на волне. Укажешь квадрат.

— «Орел», продержишься до солнышка? — спрашивает Кучерявенко.

— Продержится, — отвечает за меня комбат.

— Держись, «Орел», — как бы не слыша, что он сказал, говорит Кучерявенко. — Продержишься?

— Постараюсь.

Потом я разговаривал с Лемешко по телефону:

— Как дела?

— Вот уже двадцать минут, как тихо.

— Они только что отвязались от Сомова. Солдаты не замерзли?

— Да нет, ничего, — засмеялся он. — Мы тепло оделись. Есть только хочется. У нас после обеда крошки во рту не было.

— Придется подождать до утра. В тыл сейчас не пролезешь. Пусть солдаты по очереди греться ходят в блиндаж.

— Они и так не замерзли.

Примерно то же самое ответили мне и Сомов, и Огнев, и Прянишников. Удивительное дело — всем им было тепло, и только я один зяб, когда выходил в траншею.

«Наверно, заболеваю», — думал я, склоняясь над картой, разостланной на столе, и курил папироску за папироской и никак не мог сосредоточиться, чтобы угадать, где и когда предпримут немцы свой решительный удар, чтобы попытаться вышвырнуть меня из Матвеево. Вот они перестали наскакивать на нас мелкими группами. Передышка? Перед чем передышка? Где они сейчас накапливают силы? По какому взводу ударят, когда? Мне нужно было угадать это во что бы то ни стало, чтобы не захватили врасплох. Я посмотрел на часы. Было около двух. За дверью вдруг кто-то начал неистово ругаться. Иван, сидевший возле печки, пошел посмотреть, что случилось. Но раньше, чем он успел подойти к двери, она распахнулась сама, и в блиндаж ввалился мой старик в пилотке, надетой поперек, словно у Наполеона. На спине у него был термос.

— О, командир! — закричал он, обрадовавшись, и стал снимать лямки термоса. — Насилу добрались. Стреляет, зараза, со всех сторон! Три раза совались, только на четвертый удалось прорваться. Спасибо, автоматчики выручили.

— Да ты ошалел совсем! — закричал я. — Там же немцы кругом!

— А как же я роту мог некормленной оставить! — ответил он и закричал в дверь: — Гафуров, иди сюда, несчастный человек!

Вошел Гафуров, тоже с термосом.

— Во, хорош? — оглядев его, сказал старшина.

— Пуля попала, — прошептал Гафуров, потупясь.

Как только он вошел, во всем блиндаже сразу запахло водкой. Вслед за ним появился второй повар Кисел-

ков, потом ездовой Дементьев и писарь Кардончик. Все они были с термосами.

— Здравствуйте, товарищ капитан, — весело сказал Киселков и, взглянув на Гафурова, засмеялся.

— Здравия желаю! — встав по команде «Смирно» и взяв под козырек, сказал Дементьев с очень строгим лицом.

У писаря Кардончика был вид ошеломленного человека. Он, вероятно, был до того изумлен тем, как прорвались сюда, что лишь галантно поклонился мне.

Они стали снимать друг с друга термосы, и только Гафуров продолжал стоять посреди блиндажа, глядя себе под ноги, и был похож на провинившегося школьника с ранцем за спиной.

— Давай вызывай из взводов, пусть присылают за кашей, котелок на двоих, — распорядился старшина, обращаясь к Шубному. Потом он сел рядом со мной на нары и, поглядев на Гафурова, безнадежно махнул рукой:

— Глаза бы на тебя не глядели!

Но, очевидно, старшине как раз только и хотелось сейчас все время глядеть на повара. Он тут же сказал:

— Иди сюда!

Тот, покорно вздохнув, подошел. Видно, он давно уж не ждал для себя ничего хорошего.

— Повернись! — приказал старшина.

Гафуров повернулся.

— Гляди, командир, — старшина щелкнул ногтем по термосу.

В термосе были две дырки. Одна справа, другая слева.

— Вот входная, а вот выходная, — стал объяснять старшина. — Не уберег.

— Кашу? — спросил я.

— Водку! Я же, как ты велел, водку нес сюда. Сегодня же двенадцатое, юбилей батальона, а она вся на штаны ему вытекла.

И тут только я заметил, что шаровары у Гафурова совершенно мокрые и от них пахнет водкой.

— Я ж вам говорил, товарищ старшина, дайте я буду заведовать водкой, — сказал Киселков, на голове которого уже была поварская шапочка, а в руках — половник.

— Иди, — не скрывая досады, сказал старшина Гафурову, — я за тебя кашу раздавать буду? К печке только не подходи, а то сгоришь вместе со штанами.

— Как вы пробрались ко мне? — спросил я, гордясь в душе мужеством этих неутомимых тружеников.

— Как! — сказал старик. — Где по-пластунски, где вприскочку. Кругом стрельба, ничего не поймешь. Спасибо, разведчики выручили. Хорошие ребята!

В самом деле, сегодня эти лентяи показали себя очень хорошими, смелыми ребятами. Всеобщий наступательный порыв увлек их, они весь день были в бою, взяли в плен четырех офицеров, а теперь прикрывали меня с тыла. Не напрасно ли я так резок и груб был с ними? Пришли Макаров с Веселковым. Узнав, что прибыла каша, обрадовались.

— Давай, сейчас пробу снимать будем.

Каша была пшенная, с мясными консервами и чуть попахивала дымком. Повара начали раздавать ее посыльным из взводов. Все посыльные были в гимнастерках. Макаров, набив полный рот кашей, беспечно сказал:

— А у нас, капитан, полны траншеи немцев. В какой взвод ни придешь, кругом немцы.

— Что это значит? — насторожился я.

— Да ничего, — они с Веселковым переглянулись и захохотали. — Холодно на улице, так солдаты пробрались в тот склад и понадевали немецкие шинели.

— А эти? — кивнул я в сторону посыльных, получавших кашу.

— А они, как войти сюда, в траншее раздеваются. В темноте-то ничего, а на свету вроде и неудобно в таких шинелях.

Вот, значит, почему командиры взводов так туманно отвечали, что им тепло!

— Как взойдет солнце, так мы со всех снимем, — сказал Макаров.

— И с себя в первую очередь, — подсказал Веселков.

Они опять переглянулись с Макаровым и захохотали.

«Черти драповые, — подумал я, глядя на них. — Никогда не унывают!»

XX

Я вышел из блиндажа. Было тихо. На востоке начало светать, словно там в густую синеву неба подлили зеленовато-белесой краски, и она теперь растекалась все шире и шире, гася собою звезды. Я долго стоял в траншее, прислушиваясь к настороженной тишине.

«Молчат, — думал я. — Молчат. Почему они молчат?..»

Где-то переговаривались солдаты:

— У нас шинели не в пример лучше. Эти вроде бы как из тряпки сделаны.

— Сейчас бы после каши в самый раз поспать.

— Он тебе поспит! Опять, гляди, где-нето полезет.

— Вася, у тебя табачку на закруточку не осталось?

— А бумага есть?..

Веселков и Макаров снова ушли в боевые порядки. Немного погодя выбрался из блиндажа и старшина.

— Я, командир, пойду.

— Подожди.

— Дело не ждет.

Пришел офицер-разведчик. Лицо у него было серое, усталое. Видно, он еле держался на ногах. Это был тот самый молодой человек, который уже дважды приходил к нам в овраги.

— Как там, товарищ лейтенант, можно в тыл проползти? — спросил у него старшина.

— Наши трое сейчас ползали, ничего.

— Так я пойду, командир, — решил Лисицын и закричал в блиндаж: — Дементьев, Гафуров, Киселков, Кардончик! Ты гляди, уже спать завалились!

— Спроси у наших ребят, — напутствовал его разведчик, — они покажут, где удобнее проползти.

— Вот что, лейтенант, — сказал я, проводив старшину. — Пришли ко мне связного.

Мы спустились в блиндаж. Лейтенант встал возле печки, вытянул к ней руки и закрыл глаза. Было видно, как сон шатает его.

— Нет, не дело, — сказал он, тряхнув головой. — В сон клонит. Я пойду.

— Иди.

Я связался со взводами. Беспокойство все больше охватывало меня. Может, многим это покажется смешным и нелепым, но я верю в предчувствия. Это, конечно, никакое не суеверие, но если мне становится беспокойно, это уж наверняка, что со мною скоро должно что-то случиться. Так было и на этот раз. Только я вызвал Лемешко, как вмешался Сомов и доложил, что на него движутся четыре танка и цепь пехоты. Об этом сообщили и с КП Веселкова:

— Квадрат тридцать четыре «В». Четыре танка типа «Пантера» с пехотой. Батарея в боевой готовности.

Вот как они, стало быть, задумали — в лоб. Я перебросил к Сомову резервные ружья ПТР и разведчиков, охранявших тыл. С тыла немцам ко мне теперь все равно было не подобраться. На улице совсем уже рассвело, и меня видели оттуда, с нашей передовой.

Ударила всю ночь молчавшая артиллерия немцев. Снаряды обрушились враз. Возле блиндажа затряслась, словно в ознобе, земля. Я покосился на потолок: черт их знает, насколько прочно они построили этот блиндаж.

— «Меркурий», я «Орел», — крикнул я в радиотрубку.

— «Меркурий» слушает.

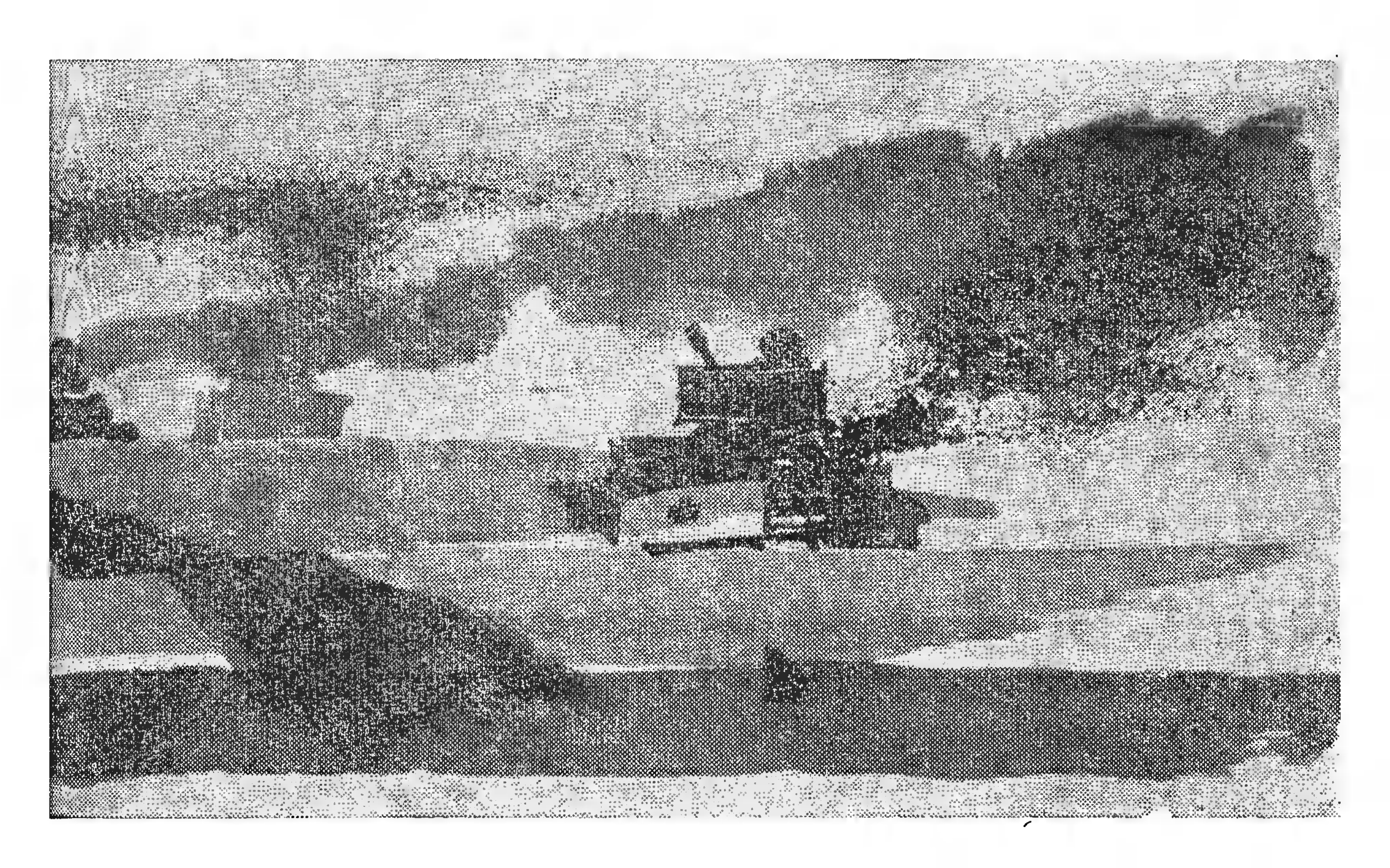
— Квадрат тридцать четыре «В». Танки и пехота.

— Делаем.

Заговорил Кучерявенко:

— Держись, «Орел». Даю на подмогу артдивизион. Держись!





Я схватил телефонную трубку:

— Сомов, как дела?

— Принял бой. Есть ра... — он умолк. Вообще в телефоне сразу стало тихо. Где-то, должно быть, перебило главный провод. Я взглянул на Шубного, мы встретились с ним глазами, он понял, почему я поглядел на него, побледнел и выскочил на улицу под снаряды, как выскакивают под дождь, немного помешкав в дверях. Некоторое время спустя в трубке что-то зашуршало, и я услышал, как ругается Макаров:

— Шубный, черт бы тебя, что ты молчишь! — А узнав мой голос, торопливо сказал: — Командир, передай «катюшам» ближе сто. Пехоту положили, танки идут.

— За танки не беспокойся, — закричал Веселков. — Это моя забота. Я их сейчас поставлю на прикол. Ты смотри, между тобой и Лемешко немцы хотят просочиться.

— Ставь, Вася, ставь на прикол!

— Гляди, Макаров, делаю!..

Я крикнул радисту:

— «Меркурию» ближе сто!

— «Меркурий», я «Орел». Ближе сто! — крикнул радист и немного погодя, тише, в мою сторону: — Принято, товарищ капитан.

В это время дверь в блиндаж резко и бесшумно распахнулась, на пороге встало ослепительное пламя, пахнуло дымом, и уже потом раздался взрыв. Мы все повалились на пол, а когда дым рассеялся, то увидели, что вместо двери остались одни щепки, печь продырявило сразу в нескольких местах и стало видно, как горят дрова.

XXI

Десять минут спустя наступила тишина. Все кончилось. Я вышел на улицу и увидел Шубного. Он сидел в траншее, уронив на грудь окровавленную голову. Одной рукой он крепко держал концы перебитого провода. Я взял эту руку. Она была уже холодной.

Невдалеке от взвода Сомова дымили три подбитых танка.

Пришел Веселков. У него была забинтована рука. Кровь бледно-розовым пятном выступала сквозь бинт.

— Ранен? — спросил я.

— Чепуха, — отозвался он. — Царапнуло осколком.

Мы стояли рядом и смотрели на подбитые танки. В одном из них стали рваться снаряды, и он густо задымил.

— Второе орудие выведено из строя, — сказал Веселков. — Три человека ранены. Один убит. — Он помолчал. — Мамырканов.

— Кто? — мне показалось, что я ослышался.

— Там, недалеко от нас, стояла немецкая пушка, — говорил Веселков как бы про себя, глядя на горевшие танки. — Помнишь, я докладывал? Когда немцы хотели просочиться в стыке между Лемешко и Сомовым, он кинулся к этой пушке, один, против всех, они стреляли по

нему, но он добежал, зарядил картечью и успел выстрелить...

— Вот и Шубный, — сказал я.

— Я видел, — ответил Веселков. — Санитары пронесли.

Мы больше не сказали друг другу ни слова и долго стояли, глядя на подбитые танки.

— Немцев там порядочно лежит, — проговорил Веселков и вдруг почти зло спросил у меня: — Скоро это кончится?

Я все глядел на танки и ничего не ответил ему.

— Ладно, — говорил он, стоя рядом со мной и, как мне показалось, совершенно не нуждаясь в моем ответе. — Мы защищаем свою землю, Советскую власть, мы знаем, почему идем на смерть. Наше дело правое. Не мы начали войну, черт бы ее драл совсем! Но немцы... Они-то ради чего? Какая у них правда? Не все же они фашисты! Вот майор с агитмашины приводил вчера с собой немца: какой он к чертовой матери фашист! Они-то чего думают, такие, как он? Ох, ненавижу я их за эту телячью покорность! Люди ведь гибнут — вот что важно! Люди! Жалко мне людей, невмоготу, понимаешь, как жалко! — он с отчаянием махнул рукой и пошел к себе на НП.

А час спустя возобновилось наше наступление, и лугом, мимо нас, пошли танки с десантом. Вступила в бой свежая дивизия, и немцы стали отходить по всему фронту.

Когда я пришел в овраг, он был забит повозками, автомашинами, снующими взад и вперед или сидящими с котелками в руках солдатами. Пробегали с озабоченными лицами штабные офицеры.

Я остановился возле блиндажа, в котором жил до вчерашнего дня и где теперь поселился генерал Кучерявенко. Какое-то тоскливое, щемящее душу чувство охватило меня. Вышел адъютант, поздоровался со мною и опять скрылся за дверью. Я пошел дальше, адъютант снова появился на улице и окликнул меня:

— Капитан, к командиру дивизии.

Кучерявенко сидел за столом, завтракал.

— Садись, — сказал он и внимательно оглядел меня красными от бессонницы глазами. — Что невесел?

— Друзей потерял.

— Плохо? — спросил генерал.

— Плохо.

Над нами летел самолет.

— Рама, — сказал адъютант, выглянув в дверь.

Я вышел на улицу. Высоко в небе медленно плыл большой итальянский самолет. В овраге все замерло. Люди, задрав головы, следили за самолетом. Кое-где начали стрелять в небо из винтовок. Самолет проплыл над оврагом, развернулся и, снизившись, пошел на второй заход. Все стояли и смотрели, как он летит над нами, и когда из него выбросили ящик, а из ящика посыпались гранаты, никто сперва ничего не понял, лишь когда гранаты стали рваться в овраге, люди кинулись врассыпную и уже стали требовать носилки и стонали раненые. Самолет медленно улетел. Где-то кричали:

— Скорее врача! Убило начальника агитмашины!

«Зачем врача, если убило?» — подумал я, пошел вдоль оврага и скоро увидел агитмашину. Возле нее сидел на земле Август в своем новеньком обмундировании и порыжелых, ушитых проводом сапогах, а рядом лежал майор Гутман в неестественной позе, неловко подогнув под себя руку. Из глаз Августа катились слезы, он по-детски всхлипывал и гладил ладонью черные вьющиеся волосы майора.

— О, майн готт! Майн готт!—шептал Август. Он казался очень одиноким сейчас. Я огляделся. Солдаты, столпившись вокруг, молча, с жалостью смотрели, как он плачет. Только один человек, стоявший напротив меня, толстый, краснолицый, уже в годах, майор, смотрел на Августа зло, презрительно, с гримасой отвращения. Встретившись со мной глазами, он вдруг смутился, едва заметная виноватая улыбка пробежала по его лицу.

Август все плакал. Сердце у меня дрогнуло, я почувствовал, что, глядя на него, сам сейчас расплачусь от жало-

сти к нему, майору Гутману, Мамырканову, Шубному, и пошел прочь.

Толстяк-майор тоже выбрался из толпы. Сняв фуражку, вытирая носовым платком наголо бритую голову, сказал, обращаясь ко мне:

— В любых обстоятельствах смерть кажется нелепой и жестокой. Не находите?

Я ответил, что думаю точно так же, что мне жаль и начальника агитмашины, с которым я был знаком, и немца.

— Немца жалеть нечего, — ответил он.

— Почему?

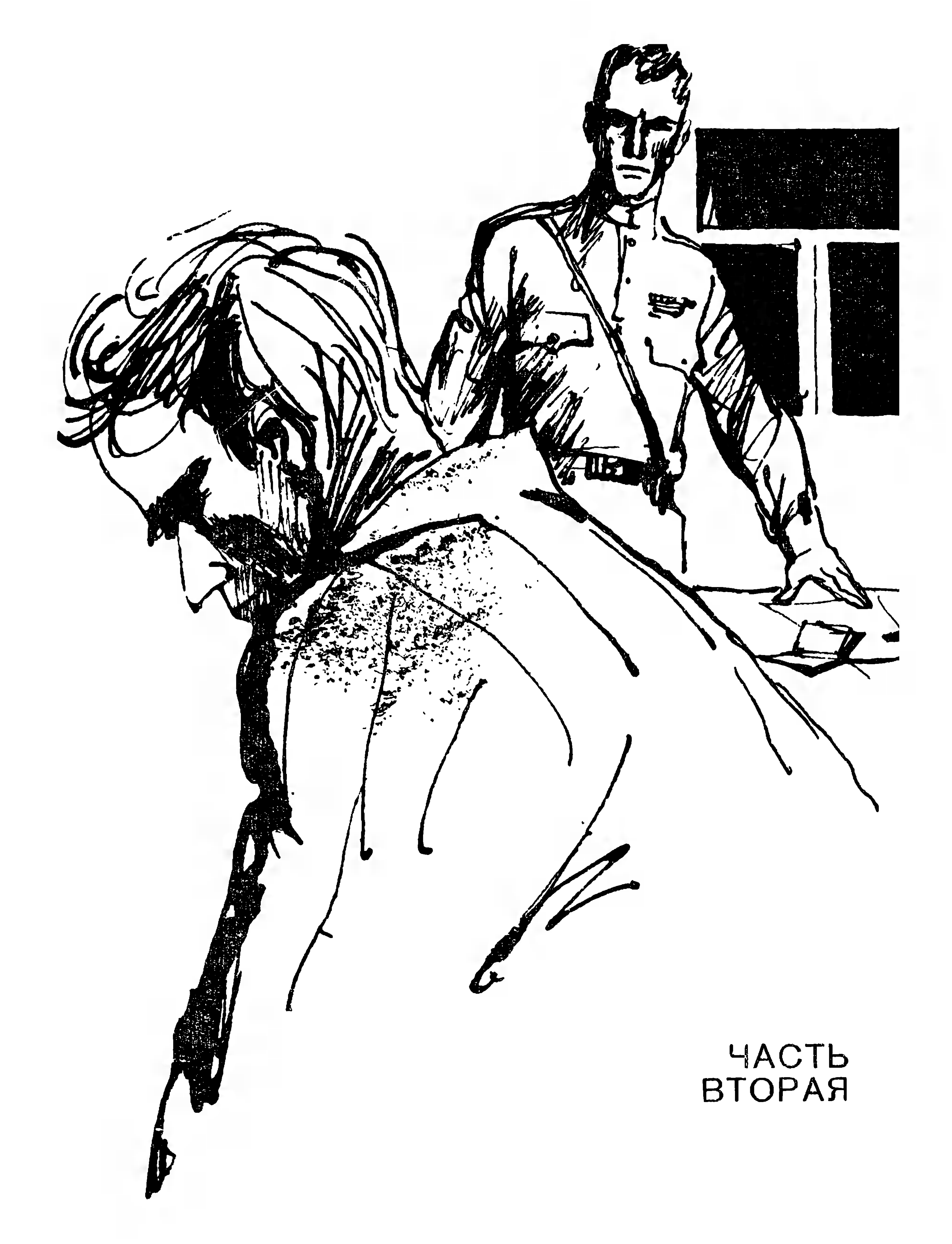
— Потому что враг. Врагов не жалеют. Не за что. — Он представился: — Начальник армейского банно-прачечного отряда майор Толоконников. Приехал на рекогносцировку и чуть на тот свет не угодил.

— Не рано ли вы приехали сюда? — спросил я, пожимая ему руку.

— Рано не рано, а приказ есть приказ.

Иван уже разыскивал меня. Поступило распоряжение из штаба батальона двигаться дальше. Еще один укрепленный узел был занят нашими войсками, и я простился с майором Толоконниковым.

★



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОЕДИНОК

I

В первую минуту я ничего не почувствовал, не увидел и не услышал, а только упал на бегу, словно споткнулся, и лишь когда попытался вскочить, снова ткнулся лицом в землю, ощутив, будто к моему животу приложили кусок раскаленного железа, и потерял сознание. Я не слышал грохота разорвавшегося снаряда и, конечно, не мог видеть, как он разрывается. И никакой боли, только стало горячо животу. У меня до сих пор такое ощущение, что сперва меня ранило, а потом уже разорвался снаряд. А быть может, это произошло одновременно.

Первый раз я очнулся в повозке. Было поосеннему пасмурно, накрапывал дождь, меня

укрыли с головой плащ-палаткой, я слышал, как возле повозки суетились, тревожно переговариваясь вполголоса, люди и с едва сдерживаемой нетерпеливой яростью распоряжался, тоже вполголоса, старшина Лисицын:

— Быстро! Живо! Дементьев, осторожнее, когда через канаву будешь переезжать. Давай быстрее, черт неповоротливый!

Потом повозка, слегка скрипнув, качнулась. Это в моих ногах примостился ездовой Дементьев, чмокнул губами, испуганно, торопливо сказал:

— Но, милые, вперед! — и повозка мягко покатилась по давно не езженному, заросшему травою проселку, по которому еще полчаса назад я шел совершенно здоровый и не полагал, что такое несчастье может случиться со мной.

Я успел подумать, что Дементьев, наверное, сидит на самом краешке, ему неудобно, хотел сказать, чтобы он подвинулся и уселся как следует, но опять потерял сознание.

Другой раз я очнулся уже в деревенской избе. Был вечер. Мой топчан стоял напротив русской печи, в которой потрескивали и стреляли жарко горевшие дрова. Мне показалось, что меня сейчас затолкнут в огонь ногами вперед и сожгут, я с ужасом зажмурился и заплакал от обиды, бессилия и жалости к себе...

Пролечился я почти полгода и потом попал в резерв фронта. Мне уже через неделю надоело в резерве, было неловко, что я, здоровый парень, даром ем хлеб, и поэтому, когда предложили поехать в пограничный полк на должность начальника заставы, я, не задумываясь, согласился: какая-никакая, а служба!

Когда все документы были оформлены и пришла пора прощаться с соседями по нарам, у меня вдруг защемило сердце: «А не свалял ли я дурака?» Натолкнул меня на эту печальную мысль один старший лейтенант, долговязый, нескладный человек. Прощаясь со мною, он желчно, со злорадством сказал:

— Ловко вы пристроились, капитан.

— Как это пристроился?

— А так. Какие сейчас у пограничников задачи на фронте? Проверяй в тылу документы у проезжих, все и делов. Ловко.

Я тогда ничего не ответил ему, но сомнение закралось в голову и стало потихоньку отравлять меня своим ядом. Я многое, конечно, знал о пограничниках. Во время войны мне иногда приходилось встречаться с ними на фронтовых дорогах или в поездах, идущих к фронту, и видел я их действительно все время за одним и тем же занятием: проверкой документов. Не свалял ли я в самом деле дурака, что согласился сменить беспокойную, трудную жизнь офицера переднего края на это тихое, однообразное и незаметное прозябание во фронтовых тылах?

В управлении войск по охране тыла фронта со мной беседовал майор из отдела кадров. Он, кажется, был огорчен, когда узнал, что в пограничных войсках я до этого не служил и о теперешних задачах имею довольно смутное представление. Я был огорчен этим не меньше его и чувствовал себя виноватым перед ним. Хотелось сказать этому усталому, с бледным, нездоровым лицом человеку:

— Виноват. Простите меня, пожалуйста.

Он счел необходимым ввести меня в курс дела.

— Пограничные полки по охране тыла действующей армии, — скучным, усталым голосом начал он, глядя в окно, которое находилось за моей спиной, — возникли в ходе Отечественной войны из пограничных отрядов. Фашисты воюют не только танками и авиацией. Для достижения своих гнусных целей они прибегают к любым методам, и самый опасный и коварный из них есть разбойничий метод ведения войны силами шпионов и диверсантов, в задачу которых входит как-то (тут он начал загибать перед моим носом пальцы): нарушение работы транспорта и коммуникаций Красной Армии — раз; организация диверсий, взрывов и убийств, чтобы ввести перебои в связь фронта с тылом, — два; создание на

фронте нехватки боеприпасов, продовольствия и других видов жизненно важного для успешного ведения войны снаряжения — три. Шпионы и агенты имеют также целью разведывание намерений советского командования по переброске частей и подготовке наступления — четыре.

— Дивизии и армии, воюющие на переднем крае, нуждаются в охране своих тылов, — с упорством продолжал он. — Для охраны этих тылов и созданы наши пограничные полки. Пограничники, первыми принявшие на себя удары немецко-фашистских полчищ в самом начале Великой Отечественной войны, идут теперь за боевыми порядками стрелковых дивизий, охраняя их тылы от вражеской агентуры и от тех последствий, которые она может нанести. Задача пограничников велика, почетна и ответственна — задушить вражескую агентуру прежде, чем она сумеет выполнить свои гнусные задачи.

Сказав все это, он вздохнул, нисколько, конечно, не веря, что я теперь достаточно просвещен, но отпустил меня со словами:

— Поезжайте в полк, сейчас туда идет попутная машина. Остальное уясните на месте.

И я отправился уяснять остальное.

II

Попутная полуторка стояла около штаба, под березами. В кузове, прислонившись спиною к кабине, удобно вытянув ноги в щегольских сапожках, сидел на запасном скате офицер, отрекомендовавшийся капитаном Бардиным, разведчиком полка, в который я и направлялся.

Бардин — веселый и общительный человек, блондин, лет тридцати пяти. Из-под сдвинутой на затылок фуражки выбиваются мягкие волосы, беспорядочно падают на лоб. На меня смотрят зоркие серые глаза энергичного, много видевшего и знающего человека.

— Вы командуете ротой? — спросил я, чтобы завязать разговор.

— Нет, я ничем не командую, — засмеялся он, продолжая рассматривать меня. — Просто разведчик. Присаживайтесь.

— Просто разведчиками бывают солдаты, а вы офицер, — заметил я, усаживаясь рядом с ним на чемодан.

— Поживете, увидите. — Мое невежество в вопросах пограничной службы, очевидно, забавляло его. — Наша разведка совсем другое дело, чем общевойсковая. Мы отличаемся от нее хотя бы тем, что у нас работают одни офицеры.

В пограничных войсках Бардин служил давно, до войны был начальником заставы.

— Вот у вас в подразделении, — говорил он, когда мы тронулись, — будет человек шесть сержантов и лучших солдат с удостоверениями старших нарядов. А старший наряда — это, знаете ли, ого! Ему дано право задерживать всех подозрительных лиц, штатских и военных, вплоть до полковников. А вам, как начальнику заставы, будет разрешено задерживать и генералов. Это, конечно, не значит, что вы можете задержать и посадить в КПЗ командира какой-нибудь дивизии. Но если мимо вас в форме генерала проедет шпион и вы вместо того, чтобы арестовать его, отдадите ему честь!.. — тут он многозначительно подмигнул мне, как бы говоря: тогда увидите, что получится.

— А вы много шпионов задержали? — Мне хотелось получить некоторые конкретные практические сведения.

— Ну откуда много. Было, конечно. — Он поглядел на меня оценивающим, пытливым взглядом, каким обычно смотрят на мало знакомого человека, не зная, стоит ли быть откровенным с ним. Очевидно, решив, что доверять мне можно, он продолжал: — Вот, скажу вам, до войны у меня на участке три раза переходил границу такой, знаете ли, мастер своего дела, немец Гуго Фандрих, и я не мог его взять. Знал, когда идет, где, а он все равно обводил меня вокруг пальца. Вот это был у нас с ним поединок!

Был конец мая. Солнце уже палило по-летнему, до-

рожная пыль неистово клубилась сзади нашей старенькой фронтовой полуторки, катившейся, пофыркивая и резко подскакивая на ухабах, мимо ярко зеленеющих полей, полусожженных деревень, тенистых перелесков под белесо-лазурным, ласковым небом.

— А ведь он, подлец, наверное, где-нибудь здесь, у нас, — продолжал Бардин. — Это такая фигура, что фашисты, конечно, не станут держать его на курорте. Хотел бы я еще разок встретиться с ним да померяться силами. Авось бы и одолел.

— Может быть, еще встретитесь.

— Конечно, все может быть.

— Он каков из себя?

— Так я его ни разу не видел. Известно, что он числится у немцев специалистом по России, превосходно знает нашу страну, язык наш, обычаи и шпионом работает давно, лет двадцать пять. Матерый шпионище, одним словом.

Разговаривая так, мы тогда и не предполагали, что нам обоим придется скоро встретиться с этим специалистом по России.

III

Прошло еще больше суток, пока я добрался до своей заставы: оформлял документы в штабе полка, ждал попутную машину в батальон, знакомился там с командованием. С заставы для меня выслали повозку.

— Сам старшина за вами приехал, — сказали мне в штабе батальона. — Мошенник хороший. Служит он у нас недавно, месяца три, а проявил себя на весь полк чуть не с первого дня. Был как-то смотр конского состава. Решали, чьи лошади лучше в полку. Что сделал этот старшина с лошадьми, можете отгадать?

Я пожал плечами.

— Протер их бензином перед смотром, и они у него блестели так, что ни один самый белоснежный платок не

запачкался, и комиссия единодушно признала их самыми лучшими. А потом пришлось отменять.

Мне показалось, что от этой цыганской истории попахивает чем-то очень мне знакомым. И действительно, я даже не могу описать удивления работников штаба, когда мы с зашедшим за мною старшиной обнялись и трижды по-русски расцеловались. Это был не кто иной, как мой старик Лисицын.

— Ну, капитан, теперь у нас дело пойдет, — пообещал мой старик, когда мы, развалясь в повозке на свежей, только что подсушенной, крепко пахнущей траве, покатили на заставу, до которой было целых восемнадцать километров.

— Как ты попал сюда, старик?

— А после ранения. Меня миной чуть-чуть пришибло в ногу. Ничего, вылечили за какой-нибудь месяц, плясать можно. Моя жена пишет в госпиталь: ты бы, мол, учиться на курсы какие-нибудь подался. Сына, пишет, вон, ранило, так он на курсы младших лейтенантов после госпиталя поехал и теперь офицер, а ты как был всю войну старшиной, так и остался, никуда тебя не выдвинули. Мне, мол, за тебя перед соседями стыдно.

— Что же ты ей ответил?

Он снял пилотку, почесал свой седой ежик.

— Дура, говорю, баба. Еще нету таких курсов, куда бы мне, старому, поехать. А соседям скажи, что старшина в роте — это то же, что генерал в дивизии, только рангом пониже да властью пожиже. Правильно написал?

— Правильно, — смеюсь я. — Как это ты с лошадьми-то попался?

— Вот черт, уже известно, — с восхищением говорит он. — Да я никогда бы им не попался, если бы не ездовой. Был у нас такой солдат, трепло, ужас. И на руку нечист, махорку воровал. Ну, отправили его от нас куда подальше, а он взял да про лошадей и рассказал. Это же давно было, как только я пришел сюда. Только принял хозяйство — смотр, а на лошадей взглянуть страшно. Ну, я, чтобы выйти из положения, и протер их бензинчиком.

Э, да черт с ним, с этим делом. Я, командир, забыл сказать, у нас ведь и Иван Пономаренко на заставе, тоже вместе со мной прибыл. Вот-то он обрадуется!

Этот день был для меня воистину днем неожиданных открытий.

— А он-то как? — воскликнул я.

— Да тоже, в одном госпитале лежали. Теперь вот шпионов ловим.

— Много поймали?

— Вообще-то при мне задержали человек тридцать всяких там бездокументников, а один, кажется, попался, паразит, настоящий. Младшим лейтенантом прикидывался. Нам теперь надо ухо востро держать. Ну да мы, командир, и здесь с тобой не пропадем!

В деревню, где стояла застава, мы приехали под вечер. Мой заместитель лейтенант Зверев, с белесыми, выгоревшими на солнце бровями и ресницами на курносом, скуластом и веснушчатом лице, выстроил возле крыльца свободных от наряда людей, и я еще с повозки увидел на правом фланге знакомую мне широкоплечую фигуру сиявшего в улыбке моего бывшего ординарца Ивана Пономаренко.

IV

Застава, в которой было всего девятнадцать человек, несла службу на участке чуть ли не в двадцать километров. Мы отвечали за все, что тут могло случиться.

Вот уже вторая неделя была на исходе, как я принял заставу, а никаких серьезных происшествий не было, если не считать, что мы задерживали то одного, то двух человек, у которых оказывались не в порядке документы. После беседы с ними мы всех отпускали. Однако я исправно назначал засады, секреты, дозоры, разведывательно-поисковые группы, так что люди и днем и ночью уходили с заставы в самых различных направлениях.

И вдруг два события, одно за другим происшедшие на нашем участке, заставили меня не только насторо-

житься, ощутить ту боевую военную тревогу, которую я давно не ощущал, но и вновь задуматься над моим отношением к людям.

Примерно недели три спустя после того, как я принял заставу, к нам приехал капитан Бардин.

Однажды поздно вечером мы с Бардиным сидели на ступеньках школьного крыльца (в классах школы мы квартировали) и старик Лисицын рассказывал, как солдат нашей заставы Назиров, смуглый юноша-узбек с большими темными любопытными глазами, получил орден Красного Знамени.

Заключалась эта история вот в чем: когда наши войска начали штурм ржевских укреплений немцев (Назиров тогда служил в стрелковой роте), налетели на них фашистские бомбардировщики. Люди залегли. Назирова ранило осколком в руку. Он крикнул командиру взвода:

— Товарищ командир, меня ранило!

Командир приказал:

— Назад!

Но Назиров, и без того плохо владевший русским языком, в волнении понял приказ командира совсем иначе, и вместо того, чтобы бежать назад, на перевязочный пункт, вскочил и бросился вперед, а за ним, уже не обращая внимания на бомбежку, вскочили, закричав что есть силы «ура», другие.

— Ур-р-а-а! — кричал усердный Назиров и бежал, бежал за командиром. Он одним из первых ворвался в город. Командующий армией, посетивший госпиталь, в котором лежал этот старательный боец, наградил его орденом Красного Знамени.

Мы с Бардиным смеялись от души. Смеялись тому, что Назиров такой славный парень, что он жив и здоров и служит вместе с нами. Мы смеялись и смотрели туда, где возле угла школы стоял на часах Назиров.

Было уже совсем темно, и часового мы едва различали. На землю пала роса, туман собрался в лощине, перед школой, над сáжалкой с затоптанными скотом гли-

нистыми берегами, каждый звук в ночной тишине был ясно, отчетливо и по-ночному отдельно слышен издалека. Вот прошли где-то, смеясь и разговаривая, женщины. В сарае беззлобно переругивались ездовые, задавая на ночь корм лошадям.

— У нас с командиром тоже немало таких историй было, — проговорил старшина. — Взять хотя бы Гафурова. Повар у нас был... — Но он тут же умолк. Мы услышали гул приближающегося немецкого самолета. Он летел со стороны фронта, развернулся за деревней над лесом, улетел обратно, потом минуты три спустя вновь появился над нами. Что это могло значить? Обычно самолеты пролетали здесь, не задерживаясь.

— Часовой! — крикнул я Назирову, почувствовав беспокойство. — Слышите самолет?

— Слышим, — раздался из темноты бодрый голос солдата. — Кружится над головой. — И тихо, про себя, но мы это услышали, добавил: — Шар голубой.

— Без шуток! — рассердился я. — Смотреть и слушать внимательней!

— Есть слушать внимательней! — Мне показалось, что Назиров при этих словах даже встал по команде «Смирно».

С тех пор, как началась моя служба на заставе, я спал, не раздеваясь. Единственное, что я мог позволить себе на ночь,—это снять ремень, сапоги и расстегнуть ворот гимнастерки. А иногда и сапог не снимал. Спать я мог лишь урывками, часа по два, по три. То надо было инструктировать людей перед выходом в наряд, то принимать рапорт от тех, кто вернулся из наряда. А наряды приходили и уходили в течение суток.

В эту ночь дежурный будил меня трижды. В двенадцать часов ночи была отправлена засада в район деревни Малая Гута, в три и в пять часов утра вернулись на заставу два парных дозора. Старшие нарядов доложили, что слышали гул немецкого самолета, кружившего над участком заставы и улетевшего в сторону фронта.

В девять утра я назначил два дозора с задачей перекрыть фронтовую дорогу на участке Суворино — Малая Гута — Большие Мельницы. В первой паре шли старший сержант Грибов и Иван Пономаренко, во второй — сержант Фомушкин и Назиров. С ними собирался пойти в наряд и я.

Дежурный выстроил дозорных возле крыльца, осмотрел на них обмундирование, проверил оружие, наличие комплекта патронов и гранат и только после этого доложил мне, что наряд готов.

Я вышел на крыльцо.

— Вы назначаетесь в наряд по охране тыла действующей Красной Армии, — сказал я ту значительную и никогда не теряющую своей торжественной силы фразу, которой обычно и непременно начинался инструктаж всех нарядов, уходящих с заставы. — Вид наряда — парный дозор. Больные есть?

— Нет, — бойко ответил за всех сержант Фомушкин, рябой, скуластый парень с маленькими, очень подвижными вороватыми глазами, с задорной, веселой и бесцеремонной фамильярностью рассматривавшими людей.

На Фомушкине все было надето так, что обязательно подчеркивало лихость этого развязного и беспечного человека. Пилотку он носил, сдвинув набекрень, и казалось чудом, что она держится на его голове. Ремень на гимнастерке, на которой сияли два ордена Славы, он затягивал до того туго, что не только палец, спичку под него нельзя было подсунуть. Эту удаль выражали и все его движения, очень красивые, не придуманные, не показные, а естественные, ленивые, небрежные, настороженные, словно он каждое мгновение готов был к резкому, цепкому прыжку.

— Старший наряда старший сержант Грибов, — продолжал я. — Ваша задача — перекрыть фронтовую дорогу на участке Суворино — Малая Гута. Ночью над участком заставы кружился немецкий самолет. Возможна высадка парашютистов. Задерживайте всех подозрительных лиц. Ясно?

— Ясно, — сказал Грибов, спокойный, немногословный, необыкновенно сильный молодой человек. Он выделялся среди всех наших солдат и сержантов строгостью смуглого лица, атлетическим сложением и тем, как сидело на нем обмундирование: всегда будто сейчас постиранное, отглаженное и подогнанное по плечу и с такой точностью, какую можно было увидеть лишь на образцовом сержанте. И вот, несмотря на то, что все в этом человеке было так хорошо, он нравился мне меньше, чем Фомушкин, которому, если не лень, можно с подъема до отбоя делать всякие замечания. Вероятно, это происходило потому, что Фомушкин был открыт, совершенно понятен мне, чего никак нельзя было сказать об исполнительном, но замкнутом Грибове. Я никак не мог понять: он не торопится показывать себя или показывать ему нечего?

— Старший наряда сержант Фомушкин, ваша задача—перекрыть фронтовую дорогу на участке Малая Гута — Большие Мельницы. Я иду с вами. Вопросы есть?

— Нет, — опять за всех весело ответил Фомушкин.

V

От Знаменки до Больших Мельниц было восемь километров. Дорога шла лесом, день стоял жаркий, тепло пахло земляникой, грибами, прошлогодним прелым листом. Тихо шумели осины.

Мы не спеша шагали по мягкой, заросшей травою, дорожной обочине, останавливались, слушали лесную тишину.

— Эти собаки такие, товарищ капитан, звери! — говорил Фомушкин, шагая рядом со мной. — Иные считают их вроде лошади, самым что ни на есть близким другом человека, но я по себе скажу, что никакой от них дружбы я еще ни разу не видел. Вот кошка. Это же маленькая тигра, а она и то ко мне дружественнее относится, чем собака. Меня, например, самая что ни на есть последняя шавка может в любую минуту за ногу

укусить. Прямо даже не могу вам объяснить, с чего они на меня так взъедаются. Другие люди идут себе по улице, и собаки на них даже не смотрят, не то, чтобы раз-другой брехнуть, а на меня так все и бросаются. Пять раз меня собаки эти кусали, имею от них четыре легких ранения и одно тяжелое, когда штаны на мне прямо в клочья были изодраны и я два месяца уколы от бешенства принимал. Я после этого, как увижу собаку, так у меня вроде гриппа какого бывает, сразу температура поднимается.

Назиров засмеялся и даже шлепнул ладонью по ляжке, но было видно, что он не верит, что Фомушкин, которого он обожал и которому робко подражал во всем, боится собак.

— Этот наш Индус тоже, вот увидите, что-нибудь отчудит со мной. Я уже часы из-за него проспорил.

Индус — служебная собака нашей заставы, огромная красивая овчарка темно-палевой масти.

— Были у меня часы, трофейные, в бою я их добыл, — рассказывал Фомушкин. — Ну, сидели мы как-то после обеда возле школы. Я и говорю Каплиеву, собаководу, что, мол, твой Индус самая что ни на есть дурашливая собака. Вообще, что дворняжка, что овчарка, все одно — собака и собака, никакой разницы. Только овчарка, может, жрет больше. А Каплиев говорит: «Раз, говорит, ты не видишь разницы, то давай проведем такую операцию: ты поди свои часы спрячь где-нибудь и приходи сюда обратно, а я потом с Индусом их найду. Только уж они тогда мои будут». Ладно, говорю, согласен. Ни черта вы не найдете. Видали мы таких ищеек.

Ходил я, товарищ капитан, минут двадцать, следы путал. Всю Знаменку исколесил. Вернулся на заставу. Давай, говорю, ищи. Взял Каплиев своего кобеля, заставил его обнюхать меня, и подались они вприскочку вдоль деревни. Проходит минут десять, прибегают они, аж в мыле оба. Привязал Каплиев кобеля этого в сарае, сел на крыльцо и вытащил из кармана часики мои. «На, говорит, бери свою трофею, не оскорбляй в другой раз слу-

жебное собаководство». Но я, товарищ капитан, от часов отказался. Хоть и жалко мне их было, а выдал Каплиеву вроде премии. Не зря же бегал он, как угорелый, по деревне. Может, вы видели, у него на руке такие герметические, светящиеся? Вот это те самые часики. Очень точно ходят. А кобель на меня все время теперь скалится, все след мой нюхает. Не иначе, как за шпиона считает. Теперь уж он меня, наверно, погрызет обязательно.

В деревне Большие Мельницы стоял армейский банно-прачечный отряд или, как такие подразделения называли солдаты-фронтовики, «мыльный пузырь». Начальником отряда был тот самый толстый краснощекий майор интендантской службы Толоконников, с которым я познакомился еще в «Матвеевском яйце». Я уже однажды приходил сюда и виделся с майором. Он оказался добродушным и очень милым человеком. Отряд его в основном состоял из одних прачек, молодых, здоровых, неутомимых на работу и на веселье девчат. Высоко подоткнув подолы, они с утра до вечера полоскали в речке белье, перекликаясь и зубоскаля по любому поводу. Шоферы, проезжая через деревню, непременно делали тут остановку, так что в Больших Мельницах было полно народу. По вечерам посреди деревни устраивались танцы и до самой поздней ночи слышались смех, песни и взвизгивания гармошки.

Деревенские избы тянулись вдоль речного берега окнами к воде. Возле широкого деревянного моста, который, в то же время служил и плотиной, стояла старая мельница. В заводи прачки полоскали белье.

Мы встали на мосту, закурили. Фомушкин, прищурясь, жадно затягиваясь цигаркой, неотрывно смотрел на девушек, склонившихся над водой. Вот одна из них выпрямилась, поглядела на нас из-под ладони и что-то сказала подругам. Те вскинули головы, обменялись несколькими замечаниями, явно относящимися к нам, засмеялись и снова принялись шлепать бельем по воде.

Старые корявые ветлы низко навесили свои ветви над

рекой, солнце искрилось на воде, отражавшей и берег, и ветлы, и мост, и склонившихся над рекой девушек.

— Смеются, — смущенно сказал Назиров.

— А пусть, — беспечно отозвался Фомушкин. — Это они так, для фасону. — Он поправил пилотку и, торопливо бросив окурок в воду, закричал:

— Рубаху мою не постираете?

— Даже можешь с плеч не скидывать! — озорно отозвалась одна из прачек. — Мы ее вместе с тобой и намылим, и прополощем, и отожмем.

— Вот бы славно было, — обрадовался Фомушкин.— Только силенок-то у вас хватит ли?

— Не таких намыливали! — в тон ему отозвалась бойкая прачка. Подруги ее дружно засмеялись. Кто-то пропел:

Пойду, выйду на крыльцо,
Посмотрю на небо.
Не идет ли мой сержантик,
Не несет ли хлеба.

— Вот стервы, им бы только зубоскалить над нашим братом, — с восхищением проговорил Фомушкин, взглянув на меня своими бесцеремонными и радостно загоревшимися глазами. — Эх, если бы меня назначили начальником в этот «мыльный пузырь» или, скажем, заместителем. Вот бы я развернулся. И чего здесь может сделать этот старичок пузатый? Куда ему!.. Сюда же сержанты нужны, молодые.

Мы прошли вдоль деревни, проверили документы у трех шоферов, остановившихся в Больших Мельницах, как они объяснили, на заправку, и, возвращаясь обратно, встретили майора Толоконникова.

— Здравия желаю, товарищ майор! — с обычной своей фамильярностью обратился к Толоконникову Фомушкин. — Как здоровьичко?

— Здравствуйте, здравствуйте, — Толоконников приятно улыбается. — Здоровье мое ничего, хорошее, не жалуюсь. Вы бы вот почаще заходили. У нас немало всякого постороннего народа бывает,

— Пока у вас полный порядок, — важно ответил Фомушкин. — А вообще-то стоит наведываться. Как товарищ капитан пошлет, так и будем у вас.

Рядом с Толоконниковым стоит мрачный усатый солдат, которому майор перед нашим приходом давал какие-то указания. Странно, этот солдат показался мне знакомым. Особенно его взгляд, встревоженный, настороженный и злой. Где и когда я видел его?

— Самолет-то, слыхали, ночью летал? — спрашивал тем временем Толоконников. — Ох, боюсь я этих самолетов. Охраны у меня кот наплакал, а кругом лес. Я уж и заезжих из-за этого не очень гоню, все-таки люди с оружием, помогут в случае чего отбиться. Чайку, капитан, с клюковкой не зайдете ли выпить? Я сейчас освобожусь.

Я поблагодарил за приглашение, сказал, чтобы он усилил охрану, так как неизвестно, с какой целью кружился самолет, и мы отправились в обратный путь.

Всю дорогу меня не покидала мысль о солдате, который стоял рядом с Толоконниковым. Где я мог видеть его?

Но как я ни напрягал память, ничего вспомнить не мог. В конце концов мне ведь могло и показаться, что я где-то встречался с ним.

VI

Старший сержант Грибов и Иван вернулись позже нас и привели с собой рослого деревенского парня, у которого при обыске нашли флягу со спиртом и карту-двухкилометровку того района, в котором мы несли службу. Документов у парня не имелось.

Все это не такие уж большие улики, чтобы обвинить парня в чем-то серьезном. Район был недавно освобожден, и у населения осталось много топографических карт, брошенных оккупантами. Документов у парня могло не быть потому, что вообще пока у многих местных жителей не было никаких документов.

Задержали его в лесу, на опушке. Он сидел среди солдат маршевой команды, следовавшей на фронт и устроившей привал. Парень и рассказывал маршевикам о том, как ему жилось «под немцем».

Когда его привели на заставу, Бардин был в батальоне, и я испытывал довольно большую неловкость. Дело в том, что всех задержанных обычно допрашивал Бардин, я только присутствовал при этом, присматривался. Теперь мне надо было самому допросить парня. Держался он независимо, смотрел на меня исподлобья, недружелюбно.

— Раньше немцы задерживали, а теперь свои тоже, — с обидой сказал он.

— Задержали потому, что нет документов, — ответил я. — Выясним и отпустим.

— А какие же документы при немцах? Они нам только номера повыдавали всем на спину, как скотине какой. Я вот ему, — парень кивнул в сторону Грибова, стоявшего, нахмурясь, возле двери, — по-человечески все объяснил. Так он разве чего понимает. Сразу давай по карманам шарить, наизнанку выворачивать. За что же такое унижение? Ждали-ждали своих... — он как-то по-детски судорожно, тяжело вздохнул. — Если сельсовет документы не выдает, так я тут при чем?

— А при том, что не ври, — строго сказал Грибов.

— А чего я тебе наврал, чего? — зло закричал парень, обернувшись к Грибову.

— Сам знаешь чего, — спокойно ответил тот.

На поляне, как только выяснилось, что у парня нет документов, Грибов пошел на хитрость и сказал, что знает его, что парень, кажется, сын суворинского председателя Ивана Карпыча. Парень обрадовался и подтвердил это.

В Суворино действительно председателем был Иван Карпыч, только сыну его шел всего-навсего шестой год.

— А я тебе говорил? Ты сам выдумал. Я, может, нарочно так сказал, чтобы ты отвязался от меня, — проговорил парень.

— Ладно, — сказал я Грибову. — Идите, отдыхайте. А ты, — я указал парню на табуретку, — садись, рассказывай, как вы тут жили.

Грибов укоризненно посмотрел на меня и вышел.

— Так ведь как, товарищ капитан, — сказал парень, еще раз судорожно вздохнув и все еще продолжая настороженно глядеть на меня. — Плохо жили. Из деревни в деревню, бывало, пройти нельзя. Тетка моя пошла в Большие Мельницы к куме в гости, а ее убили патрули, будто она партизанка.

— Партизаны нагоняли на них страху?

— Еще как. Только и слышно: там эшелон пустили под откос, там мост взорвали, там коменданта ухлопали.

Расспрашивая парня, я мучительно думал о том, что мне с ним делать. Надо составлять протокол предварительного дознания, а с чего начать это дознание?

— Сперва роздали они все колхозное по дворам. Колхоза, говорят, больше не будет, это все, говорят, теперь ваше собственное, — рассказывал парень. — Ну, у нас, конечно дело, кое-кто обрадовался, а немцы-то и говорят: только скотину резать или продавать вы без нашего разрешения не можете. Она хотя и ваша собственная, но уже принадлежит великой Германии. А потом давай все отбирать у нас. Голыми и оставили.

Это все было правдой. Я уже не однажды слышал и о номерах на спину, и о расстрелах безвинных людей, и о том, как были разграблены колхозы. Парень все больше и больше вызывал у меня сочувствие. Видно, натерпелся он за время оккупации. Сажать такого в КПЗ было жаль. Однако что-то мешало мне и отпустить его. Был ли причиной тому укор, который прочел я в глазах опытного в пограничных делах Грибова, или обман, к которому прибегнул парень, но что-то удерживало меня от окончательного решения. Я колебался. Вероятно, я все-таки держал себя с ним не так, как надо было держаться пограничнику. Как вести себя с человеком, за которым нет еще никакой вины, который только лишь подо-

зревается и неизвестно еще даже в чем, я не знал и решил ждать Бардина.

— Вот что, друг, — сказал я, не смея взглянуть парню в глаза, считая, что поступаю с ним крайне несправедливо. — Тебе придется немного посидеть у нас.

VII

— Итак, продолжим наш разговор, — сказал Бардин, закуривая.

Было двенадцать часов ночи. Парень сидел на стуле посреди комнаты, Бардин ходил мимо него из угла в угол, дымя папиросой. Допрос длился пятый час.

— Почему вас отправили без документов?

— Так нам казалось естественнее.

— Почему вы вышли к солдатам, а не скрылись в лесу?

— Они меня заметили. Да мне и нечего было их бояться. Такие люди обычно беспечны.

— Точнее, какие люди?

— Обычные пехотинцы. Особенно, когда встречают местного жителя.

— Вы откуда родом?

— Со Смоленщины.

— Точнее.

— Издешковский район, село Марково.

— Ваши родители живы?

— Мать жива, отец расстрелян.

— Кем?

— Вами.

— Когда?

— В тридцатом году.

— За что?

— За то, что хотел жить по-человечески, вот за что.

— Точнее. Он был кулаком?

— Он сам работал больше всех.

— Так за что же он был расстрелян?

— Я сказал.

— Это не точно. Он боролся против Советской власти?

— Он боролся за свое право. А во время борьбы за свое право убирают все, что мешает.

— О, это уже точнее. Кого же он убрал?

— Двух активистов.

— Вам в это время было сколько лет?

— Семь.

— Вы оставались с матерью?

— Да.

— Состояли в колхозе?

— Да.

— Учились в советской школе?

— Да.

— Сколько классов окончили?

— Семь.

— Когда Смоленщина была оккупирована немцами, вы поступили к ним на службу?

— Да.

— Кем?

— Полицаем.

— И потом, при отступлении немецких войск, ушли вместе с ними?

— Мне ничего не оставалось.

— Шпионажу обучались вы, как сами сказали, в Гамбурге. Долго?

— Полгода.

— И в ночь на четырнадцатое июня были выброшены с самолета в районе Суворино — Большие Мельницы. Парашют вы закопали в овраге, в пятнадцати метрах от развилки тропы на северо-запад.

— Я этого не говорил. Закопать — закопал, а где, не помню.

— А я уточняю. Парашют мы нашли. Кто с вами был еще?

— Я один. Я уже говорил.

— Какое у вас было задание?

— И про это тоже говорил: встретиться с Тарасовым.

— В Малой Гуте?

— Сперва должен был в Знаменке, но потом нам сообщили, что в Знаменке разместились пограничники, и встречу перенесли в Малую Гуту.

— Когда она должна состояться?

— Шестнадцатого.

— Пароль?

— Он должен спросить: «Нет ли закурить махорочки? Своя вся извелась».

— Точнее, где вы должны встретиться?

— На южной окраине деревни.

— Когда — утром, вечером?

— В полдень.

— Как Тарасов будет одет?

— В солдатское обмундирование, в левой руке он должен держать вещевой мешок.

— Вы знакомы с ним?

— Нет. Это первая встреча. Дальше я должен был работать по его заданию.

Бардин подошел к двери, распахнул ее, позвал:

— Дежурный!

— Есть дежурный! — послышалось за дверью, и на пороге встал сержант Фомушкин.

— Отведите задержанного в КПЗ.

— Пошли. — Фомушкин вынул из кобуры наган и кивнул на дверь.

Бардин прошелся по комнате, постоял возле окна, за которым уже начинала разгораться ранняя летняя заря.

— Итак, — задумчиво сказал он, глядя в окно на пустынную, тихую и однотонно серую, без теней в этот ранний бессолнечный час деревенскую улицу. — Сегодня шестнадцатое. Сегодня должна быть встреча с Тарасовым.

То, что произошло с парнем, к которому я проникся было таким доверием и чуть не отпустил его на все четыре стороны, для меня явилось истинным потрясением. И хотя никто не знал о том, что я был так трогательно добр к нему, уши мои тем не менее горели от стыда.

Мне казалось, что Бардин догадывается о моем состоянии.

— Что будем делать дальше с ним? — спросил я хриплым от пережитого волнения голосом и облизал пересохшие губы.

— Направим в штаб батальона. Мне он больше не нужен. Надо нам с вами немедленно установить наблюдение за южной окраиной Малой Гуты и взять Тарасова. Он — птица поважнее и кое-что откроет посерьезнее. — Он потер лоб ладонью, откинул волосы и засмеялся: — Ловко мы с вами раскололи этого типа!

— Я вышлю в Малую Гуту секрет, — сказал я, отведя в смущении глаза и в то же время радуясь тому, что Бардин ничего не знает, не знает, какой я профан.

VIII

Отправив задержанного в штаб батальона и выслав секрет на южную окраину Малой Гуты, я решил, что все уже сделано и остается только ждать, когда мой помощник, ушедший с нарядом, приведет на заставу второго шпиона.

В тот же день я вместе с Грибовым и Иваном вышел на участок для патрулирования дороги между Малой Гутой и Большими Мельницами. Шли мы уже не так весело, как вчера с болтливым Фомушкиным. Грибов, поглядывая по сторонам, молчал. Ни слова не слышно было и от моего Ивана. Он, как Назиров Фомушкину, во всем старался подражать Грибову.

«Испортит он мне Ивана, — неприязненно, с ревнивой обидой думал я. — Одеревенеет с ним мой Иван. Надо будет пореже посылать их в паре».

Неприязненное мое чувство к Грибову теперь усилилось, хотя я не мог не отдать ему должное, как человеку опытному и зоркому, сумевшему распознать врага в том, кого я готов был счесть за друга. Мне было обидно, я чувствовал превосходство Грибова над собой. И потому, что мне страстно хотелось, чтобы превосходство было на

моей стороне, я решил не вмешиваться сейчас в то, что будет делать Грибов, а понаблюдать за ним со стороны. Мне тогда стыдно было признаться в том даже самому себе, но я хотел поучиться у него.

Грибов останавливал встречных, поджидал попутчиков, проверял у них документы, расспрашивал, откуда и куда они идут. Мое присутствие нисколько не смущало и не обременяло его. Он был нетороплив, сдержанно требователен и, возвращая документы их владельцам, приложив руку к пилотке, говорил одну и ту же казенную фразу:

— Все в порядке. Можете следовать.

Так мы дошли до развилки дорог, что в трех километрах западнее Больших Мельниц. Здесь решено было остановить и проверить несколько машин, изредка проезжавших мимо нас. Грибов вынул из-за голенища два флажка — красный и желтый, встал на перекрестке.

Мы с Иваном уселись на обочине и, когда он останавливал машину и проверял документы у водителя, тоже выходили на дорогу и осматривали кузов.

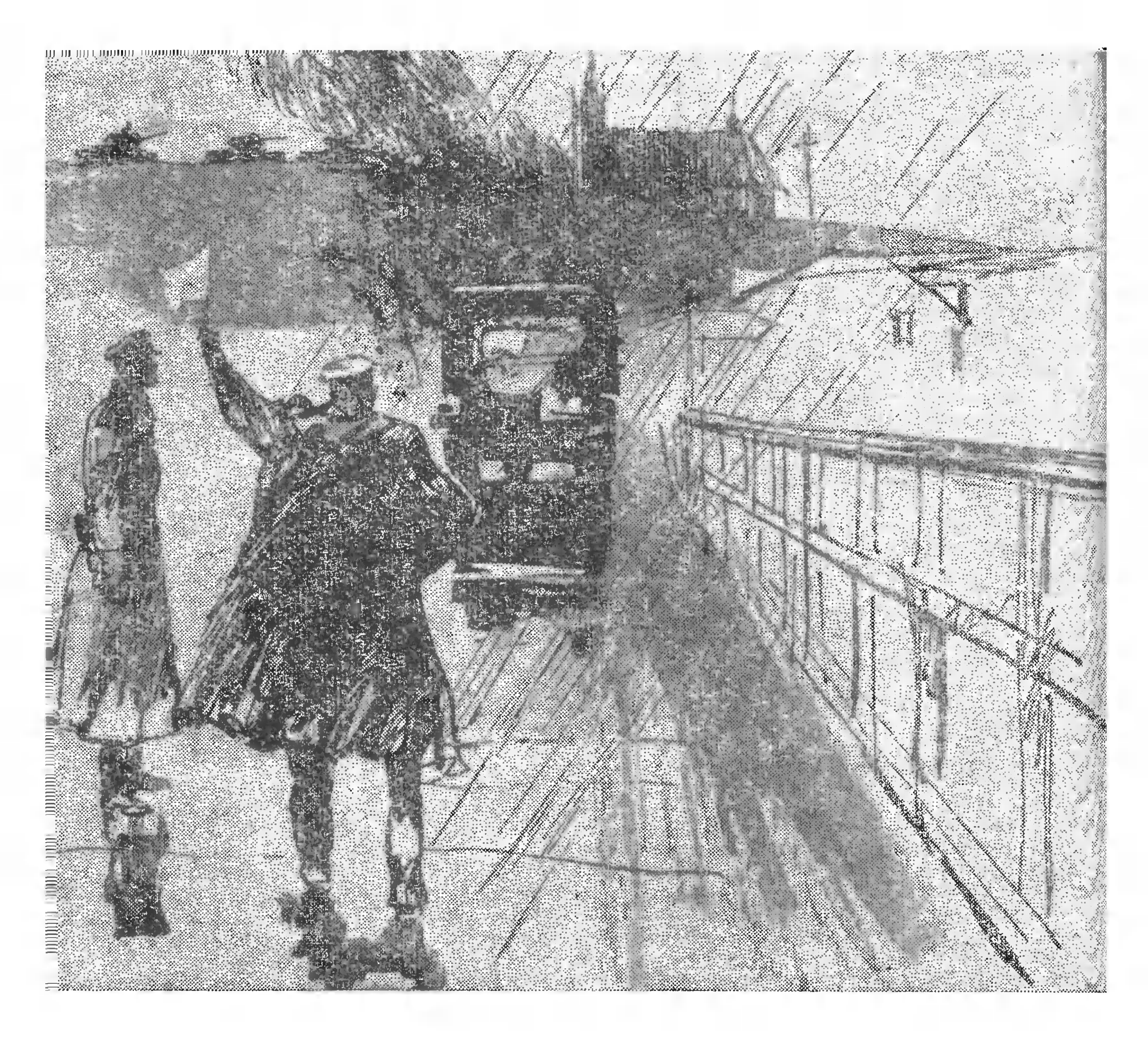
На перекрестке мы пробыли около часа, осмотрели шесть машин, ничего не нашли, и я, по привычке стеснявшийся причинять людям хлопоты и неудобства, начал чувствовать себя неловко и даже с некоторой завистью смотрел на Грибова и Ивана, которые так спокойно и независимо, с сознанием своей правоты держались с людьми.

— Давайте кончать, — сказал я Грибову. — Проверим еще одну машину и — на заставу.

Машина шла порожняком, в кузове сидело шесть человек, как объяснил нам шофер, случайных попутчиков, подобранных по дороге: два офицера — майор и лейтенант, сержант, старшина и два солдата.

Грибов влез в кузов, встал посредине, широко расставив ноги, и по очереди принимал и рассматривал документы.

Майор и лейтенант были из одной дивизии, веселые, нетерпеливые. Они получили отпуск и ехали к родным.



Я с сочувствием глядел на них, прекрасно понимая, что значит получить отпуск и ехать домой. Каждая минутная задержка кажется вечностью.

Майор, улыбнувшись, сказал Грибову, принимая от него свои документы:

— Только поскорее, пожалуйста, товарищ сержант.

Грибов, уже разглядывавший документы лейтенанта, не ответил ему.

— И верно, старший сержант, давай побыстрее. — Лейтенант с вызывающей усмешкой глядел на него. — Все мы с переднего края, документы в порядке.

Но Грибов и лейтенанту ничего не ответил.

«Совсем неучтиво», — подумал я и, чувствуя, как неприязнь к Грибову начинает возрастать во мне и меня все больше возмущает его обстоятельная неторопливость, сказал:

— Пошевеливайтесь, товарищ Грибов.

Грибов с укором посмотрел на меня, послушно сказал:

— Есть пошевеливаться, товарищ капитан, — но, как я с неудовольствием заметил, спешить не стал.

Последним, у кого он взял документы, был пожилой солдат с орденом Красной Звезды на вылинявшей, не однажды стиранной гимнастерке.

Грибов долго, неторопливо, как показалось мне, нарочно подчеркивая этим, что хозяином положения, даже несмотря на мое замечание, остается он, вертел в руках, перелистывал красноармейскую книжку солдата.

«Да, я прав, что он не нравится мне, — думал я, чувствуя все возрастающее раздражение к поступкам этого обстоятельного человека. — Его бдительность, которой все мы восторгаемся и ставим в пример другим, есть не что иное, как своеобразная болезнь. Нельзя же всех подозревать в злонамерениях!»

— Вы куда едете? — перестав, наконец, рассматривать книжку, но не возвращая ее солдату, спросил Грибов.

— На станцию Гусино, товарищ старший сержант. — Солдат снизу вверх пристально глядел на него.

— В командировку? — Грибов смотрел то в книжку, то на солдата.

— Да.

— Дайте ваше командировочное предписание.

Солдат беспокойно завозился, стал торопливо, сбивчиво объяснять:

— У меня нету его. Мне товарищ интендант говорит,

поезжай, говорит, Чувашов, скорее в Гусино. Валяй без предписания, сойдет. Я, говорит, не в Москву тебя посылаю. Валяй, говорит...

— Почему же он не выдал вам предписания? — Грибов бесстрастно в упор смотрел на него.

— Печать-то в штабе полка, а дело наше срочное, — беспокоился солдат. — Не в Москву, говорит, посылаю. Никто тебя не задержит, рядом тут.

Грибов опять принялся рассматривать красноармейскую книжку.

— Эх! — махнул рукой лейтенант. — Решайте скорее, старший сержант. Делать вам что ли нечего? Шли бы лучше на передок да проверяли там у немцев.

— Сейчас решим, товарищ лейтенант, — резко ответил Грибов. — Давайте, сходите, — обратился он к солдату, пряча его книжку в карман своей гимнастерки.

— Как же это, товарищ старший сержант... — Солдат был огорчен, растерян, жалок. — Мне же в Гусино надо, у нас дело срочное, я задания не выполню... — Он нехотя поднялся, взял лежавший возле него вещевой мешок, поглядел на меня с мольбою в глазах: — Товарищ капитан...

— Выполняйте, что приказано вам старшим сержантом, — сказал я, спрыгнув с подножки.

То решение, которое принял Грибов, было единственно правильным формально. Я это понимал и в то же время мне было жаль солдата, которого, я был уверен, в конце концов придется отпустить и, стало быть, мне снова, еще раз надо будет испытать стыд и неловкость за свой поступок, за причинение обиды ни в чем не повинному человеку.

— Какая-то дикая жестокость, — вдруг сказал лейтенант. — Едет человек в командировку, а тут всякие тыловики хватают его.

Я невольно вздрогнул от этих слов. Злость, раздражение, неудовольствие, которые едва сдерживались во мне, вдруг обернулись против лейтенанта.

— Прошу, товарищ лейтенант, не вмешиваться в

действия старшего пограничного наряда, — резко сказал я, покраснев от злости.

Лейтенант тоже разозлился, что-то хотел ответить мне, но майор, похлопав его по плечу, произнес:

— Спокойнее, спокойнее. Не мешайте им заниматься своим делом.

Солдат, вздохнув, неуклюже перелез через борт, спрыгнул на землю, и машина поехала в сторону Малой Гуты, откуда до станции Гусино было еще километров тридцать.

На заставе Бардин допросил солдата. Ничего нового тот не сказал и только беспокоился, дадут ли ему справку, что он был задержан: ему надо было чем-то оправдаться перед интендантом.

У него отобрали орден, обмотки, ремень, спички, табак, сняли с пилотки звездочку и посадили в КПЗ.

Вечером из Малой Гуты вернулся Зверев, весь день пробыв там в секрете. Человек с вещевым мешком в левой руке на свидание не пришел.

IX

— Странно, очень странно, — проговорил Бардин. — Почему же он не пришел, когда должен был непременно прийти? Что его спугнуло? Где он сейчас? Положение осложнилось, капитан.

Мы с ним сидели на крыльце школы. Слушая Бардина, чувствуя, что он встревожен, я все же думал не столько о том, почему не явился на свидание человек с вещевым мешком в левой руке, сколько о старом солдате, сидящем у нас в КПЗ, и спросил о нем у Бардина.

— И с ним пока ничего не ясно, — ответил он.

— Что же тут неясного?

Бардин с удивлением поглядел на меня.

— А зачем он, собственно, ехал в тыл с переднего края, не имея на то никаких документов? Даже если в этом деле виноват не он, а тот, кто послал его, то и того человека следует призвать к порядку за нарушение строжайших приказов командования.

Мне показалось это не очень убедительным, и я сказал:

— Надо больше доверять людям.

Бардин засмеялся, покровительственно, дружески хлопнул меня по плечу.

— Да вам никто не мешает, доверяйте. Как же, без этого нельзя было бы и жить. Но доверять-то надо все-таки с разбором. — Он, сощурясь, поглядел на меня.— Знаете, что я вам скажу? Только не обижайтесь: вы человек толковый, но в вас еще ваты полно. Вы мягкий очень. Из вас ее надо безжалостно вытрясти. Тогда вы совсем хороший будете, пожестче.

Я, конечно, обиделся, что меня надо трясти, словно грушу, но ответить не успел.

Выскочил из дома радист, протянул мне листок бумаги.

— Радиограмма из батальона.

«Вышлите к восьми ноль-ноль семнадцатого штаб батальона Фомушкина и Назирова для прохождения двухнедельных снайперских сборов на переднем крае, снабдив продовольствием трое суток и аттестатом».

— Черт знает что! — разозлился я. — «Вышлите к восьми ноль-ноль», а сейчас уже девять вечера, до батальона восемнадцать километров. Неужели они раньше не могли сообщить? И для чего вообще эти сборы? Людей на заставе и так не хватает, а теперь еще двух человек забирают.

«В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое перехвачена работа передатчика неизвестным кодом, — читал я дальше. — Усильте наряды в районе высадки парашютиста Большие Мельницы — Малая Гута — вероятном нахождении радиопередатчика. Вышлите лесной массив повторную РПГ. Результатах работы наряда доложить семнадцатого восемнадцать часов».

И дальше:

«Воинской части шестьдесят девять восемьдесят три дезертировали рядовые Чувашов и Попочкин. Примите меры их задержанию». Прочитав это, я позабыл и о сво-



ей обиде на Бардина, и о злости на батальонных штабистов. Так вот он кто, оказывается, этот скромный старый солдат Чувашов!

X

— Ну, Чувашов, садитесь и рассказывайте, — сказал Бардин, когда дежурный по заставе ввел солдата.

Чувашов сел, кротко, чуть щурясь и склонив голову набок, поглядел на Бардина. Тот сидел за столом, подперев кулаками голову, пристально и холодно смотрел на солдата.

— О чем рассказывать, товарищ капитан?

— О том, почему вы решили дезертировать.

Чувашов качнулся, будто эти спокойно, обыденно произнесенные слова хлестнули его по лицу, да так сильно, что он едва усидел на табурете.

— Откуда вам известно? — тихо спросил он, опустив глаза.

— Это правда? — Бардин продолжал сверлить его взглядом.

Чувашов молчал, глядя в пол.

— Я вас спрашиваю, Чувашов, это правда?

Солдат вдруг сполз с табуретки, встал на колени.

— Я не виноват... Я не знаю, что со мной случилось, я точно помешался. У меня на глазах разорвало человека снарядом, и я не выдержал, словно стал не в своем уме. Отправьте меня обратно... пощадите... Я оправдаю... клянусь детьми, всем, что свято для меня...

— Встаньте, — брезгливо сказал Бардин.

Чувашов покорно поднялся, исподлобья глядя на Бардина. Губы его тряслись. В эту минуту он действительно имел вид человека с помутившимся рассудком.

— Где Попочкин? — спросил Бардин.

— Не знаю, ничего не знаю... Пощадите меня, верните обратно...

— Это мы, конечно, сделаем, вернем, — сказал Бардин. — Но ведь вы орденоносец. Вот ваш орден, — он

взял лежавший на столе рядом с красноармейской книжкой дезертира орден. — В чем тут дело?

— Не знаю, ничего не знаю, — словно в бреду бормотал Чувашов. — У меня вроде туман какой в голове. Как разорвало при мне человека, у меня на уме одно только стало — спасаться. — Он закрыл лицо руками, застонал: — Что я наделал, что наделал...

Я с омерзением глядел на него.

Бардин начал было писать протокол допроса, но вдруг решительно отложил ручку в сторону, скомкал бумагу, разорвал ее на мелкие клочки, швырнул под стол, в корзину, встал, прошелся из угла в угол. Потом пристально, даже с некоторым любопытством поглядев на дезертира, обернулся к двери:

— Дежурный, уведите задержанного.

— Что же будет теперь со мной, товарищ капитан? — плаксиво спросил Чувашов.

Бардин, не ответив, пропустил его мимо себя и захлопнул дверь.

После этого он долго ходил из угла в угол, заложив руки за спину. Я спросил о том, что удивило меня, показалось мне странным, нелепым:

— Почему вы не оформили протокола?

Бардин подошел к столу, взял орден Чувашова и, вертя его в руках, разглядывая, сказал:

— Потому что я не верю, будто он дезертир.

— Но вот же радиограмма! — теперь уже я с некоторой снисходительностью смотрел на него. — И сам Чувашов признался.

— Все это так: и радиограмма, и его признание, а я все-таки не верю.

— Чему же не верите? Тут же все ясно!

— Не будем спешить с выводами. Давайте порассуждаем. Есть такая пословица: семь раз отмерь, а один раз отрежь. Вот давайте померяем. Во всем этом деле, мне кажется, не хватает логики. Начнем с того, что Чувашов едет с фронта в командировку, не имея на руках командировочного предписания. Возможно ли это? Вполне

возможно. Бывали такие случаи? Бывали. Красноармейская книжка у Чувашова в порядке, в командировку послал его начальник. Чувашов тут лично ни в чем не виноват. Он выполнял приказание. Но вот мы получаем радиограмму. Чувашова, оказывается, в командировку никто не посылал, он трус, дезертир, сбежал с поля боя. Бывали такие случаи? Бывали. Но тут и начинается непонятное. Чувашов не новичок на фронте, в его книжке написано, что он призван из запаса в августе 1941 года. Значит, элементы трусости у него должны были бы проявиться и раньше, однако он награжден орденом, а трусов, как известно, орденами не награждают. В чем же дело?

Бардин ходил по комнате. Я уже знал эту его привычку — думать вслух, прохаживаясь из угла в угол. Сейчас он не столько отвечал на мой вопрос, сколько разговаривал сам с собою.

— Теперь отвлечемся немного в сторону, — продолжал он. — Сегодня в полдень в Малую Гуту должен был явиться на свидание человек с вещевым мешком в левой руке, Тарасов. Но он не явился. Почему? Возможно, он где-нибудь задержался и явится завтра, послезавтра. Все это, я говорю, возможно. Но почему он все-таки сегодня не пришел?

— Какая же здесь связь с дезертирством? — в недоумении пожал я плечами. — Тут уж совсем, кажется, нет никакой логики.

— Пока никакой. Но надо подумать, может быть, она и найдется.

Бардин подошел к столу, взял красноармейскую книжку Чувашова, стал ее листать, вертеть в руках и так и этак, потом со вздохом разочарования небрежно кинул на стол.

— Очень, знаете ли, странно. — Он, сощурясь, поглядел в потолок. — Человек, награжденный боевым орденом, струсил.

— А все-таки он дезертир! — воскликнул я с такой

же упрямой радостью, с какой, вероятно, кричал Коперник, что земля все-таки вертится.

— Да, пока мы его будем считать дезертиром. Против фактов, как говорят, не попрешь. Факт — вещь упрямая. — Он нагнулся над столом, стал вновь рассматривать чувашовский орден, и в эту минуту что-то произошло с ним. Лицо его оживилось. Он поспешно вытащил из кармана лупу, прищурясь, нацелился ею на орден, уже с удовольствием приговаривая:

— Так-так-так. — Потом позвал меня: — Идите-ка сюда, — протянул орден, лупу. — Поглядите.

Я поглядел. Орден как орден. Ничего в нем особенного не было.

— Вглядитесь-ка, — настаивал Бардин. — Орден-то поддельный. На обычных орденах красноармеец обут в сапоги, а здесь в ботинки с обмотками. Перестарались. Дежурный! — крикнул он, повернувшись к двери. Голос у него был теперь веселый, властный. — Приведите задержанного. — И глядя на меня, засмеялся, потирая в нетерпении руки. — Вот хитрая бестия, а?

Когда дежурный ввел Чувашова, Бардин сказал:

— Садитесь, Чувашов, и рассказывайте все по порядку.

Чувашов продолжал стоять.

— Я вам все рассказал, товарищ капитан.

— Я не про то совсем, — отмахнулся Бардин. — Я о другом теперь. Ведь вы не дезертир. — Я внимательно следил за выражением лица Чувашова. Но при этих насмешливых, сказанных как бы между прочим словах Бардина на нем не дрогнул ни один мускул.

— Что же вы молчите? — продолжал Бардин. — Не хотите говорить? Ну, чтобы нам с вами не терять зря времени, давайте мы вот как сделаем. Вот ваш вещевой мешок. — Бардин сходил в угол, принес оттуда вещевой мешок Чувашова. — Возьмите его в левую руку. Берите, берите, не бойтесь. Вот так. Теперь представьте, что вы находитесь не в этой комнате, а в деревне Малая Гута́, на южной ее окраине. Правда, вы должны были быть

здесь, в Знаменке, но тут поселились пограничники, и встреча была перенесена в Малую Гуту. Теперь вы подходите ко мне и говорите: «Нет ли закурить махорочки? Своя вся извелась». Ну, давайте, говорите, Тарасов! Ну!

— А дальше что? — спокойно спросил тот.

— Неужели вам не ясно, что дальше?

Чувашов-Тарасов отбросил вещевой мешок в сторону, сел на табуретку, угрюмо сказал:

— Дайте закурить.

Бардин протянул ему папироску, зажег спичку.

— Кто резидент?

— А вам не все равно? — Чувашов-Тарасов, жадно затягиваясь, насмешливо глядел на него.

— Нет, не все равно.

— Гуго Фандрих.

Я увидел, что Бардин даже просиял при этих словах.

— Давайте его координаты.

— Они вам уже не помогут.

— Вы так думаете?

— Не думаю, а знаю. Гуго Фандрих перешел фронт. Это тот самый Попочкин, который якобы дезертировал вместе со мной.

— А-а-а, черт! — вырвалось у Бардина. — Опять он ушел от меня.

— Не знаю, опять ли, но ушел.

— Для чего вы должны были встретиться с парашютистом?—Бардин спрашивал уже зло, отрывисто. Я был не меньше его раздосадован тем, что ему, да и мне вместе с ним, не удалось захватить неуловимого Гуго Фандриха.

— Чтобы на всякий случай продублировать сведения, которые нес Фандрих. — Чувашов-Тарасов поднялся, подошел к столу, не спеша загасил папиросу.

— А потом?

— Потом работать самостоятельно.

— Чья радиостанция работала вчера ночью?

— Этого я не знаю. Все, капитан. Пиши протокол. Мне эти разговоры уже надоели.

— Мне тоже. Вы правы. — Бардин сел за стол.

Пораженный и обескураженный тем, что открылось мне здесь сейчас, я еще долго стоял возле двери, не смея шелохнуться.

XI

Прошли две недели, которые в сущности не внесли в нашу жизнь никаких изменений, и поэтому я с легкостью на душе пропускаю их.

Мы выполняли свою службу, исправно посылали наряды, но они были безрезультатны. А наши радиостанции еще трижды за это время засекали работу не известного никому передатчика, который, по всем предположениям, находился где-то на участке, охраняемом нашей заставой.

На поиски этой рации мы два раза высылали в лес разведывательно-поисковую группу, даже прочесали лесной массив между Суворино — Малая Гута — Большие Мельницы всем батальоном, однако обнаружить ее и на этот раз нам не удалось.

Движение по магистрали все усиливалось, особенно ночью. К фронту шли пехотные, танковые и артиллерийские соединения. Фашистские самолеты стали наведываться в наш район, бомбить магистраль и однажды обрушились на Большие Мельницы, когда там остановилась колонна машин с боеприпасами.

Во время бомбежки ранило в руку небольшим осколком майора Толоконникова. В госпиталь майор не поехал, вызвав этим поступком всеобщий восторг прачек, хотя на лице у него с тех пор появилось испуганное выражение. Он то и дело с опаской косился на небо.

Бардин считал, что налеты фашистской авиации прямым образом связаны с работой радиостанции, по всей вероятности, сообщавшей немцам о движении и скоплении войск на магистрали.

Вернулись со стажировки на переднем крае Фомушкин и Назиров. Между прочим, они сообщили, что на стажировку попали в тот самый полк, из которого якобы

дезертировали Чувашов и Попочкин. Когда они рассказали в полку, что это не дезертиры, а шпионы, им не поверили, поскольку Попочкин, полковой сапожник, не дезертировал и не переходил переднего края, а был найден в лесу убитым. Кто-то с близкого расстояния выстрелил ему в затылок и завалил еловыми лапами явно для того, чтобы не скоро нашли. А вот Чувашов, писарь, тот, верно, исчез из полка.

Бардин, выслушав рассказ снайперов, помрачнел еще больше. История с Чувашовым и Попочкиным оказалась очень запутанной. Кто же убил Попочкина? Действительно ли Попочкин был тем самым Фандрихом, которого Бардину не удавалось задержать вот уже много лет?

Однако все это скоро пришлось забыть. Новые события отвлекли наше внимание: началось наступление советских войск.

Мы снялись и двинулись следом за фронтом, и когда вечером проезжали через Большие Мельницы, «мыльный пузырь» тоже грузился на машины. Майор Толоконников, с рукою на перевязи, стоял посреди деревни, распоряжаясь погрузкой.

— Вперед, капитан? — закричал он мне.

— Вперед!

— Счастливо!

— И вам того же!

— До встречи в Берлине!

Бардин в это время спал на повозке, укрывшись плащ-палаткой.

— С кем это вы так трогательно прощались? — спросил он, разбуженный нашим криком.

— С начальником банно-прачечного отряда.

— Говорят, забавный старик?

— Очень. После того, как его ранило, ему и днем и ночью мерещатся немецкие самолеты. Даже когда муха жужжит, он вздрагивает.

Бардин пробурчал что-то непонятное и снова закутался в плащ-палатку.

В то лето линия фашистской обороны была прорвана

нашими войсками во многих местах на всем протяжении от Баренцова до Черного моря. Советские войска, окружив в районе Минска 30 немецких дивизий, оставив немногочисленные заслоны, стремительно шли вперед и скоро вступили в Литву.

Немцы, окруженные под Минском, попытались вырваться из нашего кольца, но потерпели неудачу и, окончательно потеряв централизованное управление, рассыпались на мелкие отряды, упрятались в леса, занялись грабежами и мародерством, нападая на деревни и тыловые воинские подразделения.

Покинув Знаменку, мы чуть не два месяца кочевали по Белоруссии, нигде не задерживаясь больше четырех-пяти дней. Иногда нам приходилось делать двадцати- и тридцатикилометровые переходы, чтобы настигнуть и разгромить какую-нибудь немецко-фашистскую банду.

Но, наконец, с ними было покончено, и мы вступили в Литву.

XII

Здесь все было совсем не так, как в Белоруссии. Посреди больших сел и городков возвышались островерхие, из красного кирпича, на вид очень мрачные и тяжелые костелы. По воскресеньям из их открытых окон слышались печальные звуки органных труб. В Литве многое нас удивляло: деревянные ботинки — клёмпы на ногах крестьян, распятия Христа на перекрестках дорог и почти полное отсутствие деревень. Одни хутора. Чем больше у хозяина был надел земли, тем дальше отстоял его дом от соседа. Особенно большие хутора — помещичьи — пустовали. Хозяева их ушли с немцами.

— Это же прямо ископаемая жизнь! — удивлялся Фомушкин. — Вот уж бирюки, так бирюки. Каждый в своей берлоге. Тут же со скуки сдохнешь свободно, если соседа только через стереотрубу можно рассматривать. Даже бабам, бедным, поругаться не с кем. Не будут же они все время только со своими мужиками ругаться.

Немцам в Литве нигде не удавалось зацепиться, и

они ходом откатились в Пруссию, за свои старые укрепления. Советские войска остановились на границе, чтобы сделать передышку, перегруппироваться и подтянуть тылы.

Нашей заставе было приказано расквартироваться в местечке В. и организовать охрану тыла действующей армии, как гласило предписание, «в районе прилегающей местности».

Наступила осень. Занимаясь изучением «прилегающей местности», мы и не заметили, как солнечные, погожие дни все чаще стали сменяться ненастьем, низкие унылые тучи потянулись над нами со стороны Балтики, солнца не стало видно по нескольку дней кряду, и все это время шел дождь, надоедливый, жесткий, колючий. Дороги разбухли, солдаты приходили из наряда насквозь промокшие. Даже плащ-палатки не спасали.

Однажды Фомушкин и Пономаренко, вернувшись на заставу, доложили, что в местечке М., расположенном на берегу озера, расквартировался «мыльный пузырь» майора Толоконникова. Майор передавал мне привет и звал в гости.

Это местечко было у нас на особом счету. Немцы, отступая, угнали с собой население, дома почти все пустовали, а через местечко лежала шоссейная дорога, которая была теперь одной из основных магистралей, снабжавших фронт. Дорога шла с юга вдоль озера, посреди местечка круто сворачивала на запад и, миновав довольно высокую насыпь дамбы, уходила к границе, откуда к нам доносило артиллерийскую стрельбу и пулеметные очереди.

В местечке стояли комендатура, питательный пункт и несколько регулировщиков. Они, разумеется, не могли обеспечить надежной охраны, и вражеские агенты, если бы им вздумалось обосноваться тут, сделали бы это безнаказанно.

Когда я узнал, что в местечко прибыл «мыльный пузырь» Толоконникова, то обрадовался: все-таки местечко заселялось своими людьми.

В гости к Толоконникову я тогда так и не попал: были неотложные дела.

— А вы бы все-таки съездили к нему, — как-то сказал мне Бардин.

— Поедем вместе, — предложил я.

— Ну зачем, — возразил он. — Я с ним незнаком, с какой стати. А вам не мешает посмотреть там, что и как.

Что верно, то верно. Я велел Лисицыну запрячь лошадей, взял с собой Ивана, и мы тронулись в путь.

— Как приеду до дому, так зараз женюсь, — решительно сказал Иван, погоняя лошадей.

— У тебя, брат, какие-то демобилизационные настроения, — засмеялся я.

Мы давно уже не были с ним наедине, не беседовали с глазу на глаз.

— А хиба ж у вас их нема, — флегматично отозвался он. — Жизня вона дуже добрая, а без дружины яка жизня? Старший лейтенант Макаров, ще колы мы стояли в «Матвеевском яйце», вже жениться собрался.

— На ком же?

— Та на дочке Халдея, хиба ж не знаете? — удивился Иван. — Воны вже и письма писалы и портреты поменялы...

— Нет, я ничего об этом не знал. Ай да Макаров! Молодец! Где-то он теперь? Где Халдей, Лемешко? — и я погрузился в воспоминания.

— А добре мы жили в том яйце, — мечтательно, со вздохом, произнес Иван.

— Добре, добре, — проговорил я и вспомнил овраги, и как добре действительно мы там жили, и все, что было у нас: как мы выдвинулись вперед и генерал наградил нас, и как отбивали атаки немцев, и как погибли Шубный и Мамырканов, и как бесследно исчез солдат Лопатин.

Мысленно я перенесся в банно-прачечный отряд Толоконникова и очень ясно представил себе следующую картину: стоим мы ясным июньским днем на улице Больших Мельниц, я гляжу на мрачного усатого солдата, всем своим существом ощущаю на себе его злые, насторожен-

ные глаза и мучительно вспоминаю, где я видел их. Теперь я все вспомнил. Именно такие глаза были у Лопатина. Лопатин! Это же был Лопатин! Он только отрастил усы. Но как он мог попасть к Толоконникову? Почему он не подошел ко мне, не поздоровался со мной? Тоже не узнал?

— Иван, — спросил я, — ты ведь бывал в банно-прачечном отряде?

— О, ще скильки раз, — отозвался он. — Туда Фомушкин любит ходить. Тильки разбуди, кажи: Фомушкин, треба идти в наряд на всю ночь в «мыльный пузырь», так вин, як тот... як его... жеребчик хвист задере, тай подастся туда галопом!

— Ты не замечал, там у них есть солдат, мрачный такой, с усами, очень похожий на нашего Лопатина, который, помнишь, когда саперы минировали передний край, пропал у нас?

— Ни, не бачил. А шо, вин добре похож?

— Да вот кажется мне, что очень уж добре.

— От ты, дивись, — сказал Иван. — Треба побачить.

Жизнь в подразделении Толоконникова текла по прежнему руслу: днем его русалки, с красными от холодной воды, как гусиные лапы, руками полоскали в озере белье, зубоскалили с проезжими, а вечерами плясали, как говорят, до упаду с теми, кого им удалось завлечь на танцульки своими чарами.

Проезжих машин, как сообщил мне комендант, стало задерживаться на ночь в местечке под разными предлогами раз в пять больше, чем когда русалочьего отряда Толоконникова тут не было. Все обстояло, как в Больших Мельницах. Лишь «балы» по случаю осеннего ненастья устраивались уже не на улице, а в большом пустующем доме.

Толоконников встретил меня с такой радостью, будто мы были с ним близкими родственниками, затащил к себе домой, усадил за стол, стал угощать чаем с клюквой.

— Люблю, грешным делом, чайком побаловаться, —

говорил он, с доброй улыбкой глядя на меня своими маленькими заплывшими жиром глазками.

— До Пруссии дошли, а? — философствовал он. — Пруссия, рассадник оголтелой военщины, вот она — рукой подать. Свершается возмездие...

Я слушал его старческую болтовню и думал о Лопатине. Мысль о нем не выходила у меня из головы: «Как он мог попасть к Толоконникову? Да полно, он ли это?»

Я старался не думать о нем и чувствовал, что не могу этого сделать, пока не спрошу о нем у Толоконникова.

— Это какой же? — задумался он. — У меня вроде усатых-то никогда не было.

— Я его у вас в Больших Мельницах встретил. Вы с ним стояли, помните, на улице.

— А-а, — обрадовался майор. — Еремин? Мрачный такой, неповоротливый, все исподлобья, исподлобья. Этот?

— Да, да.

— Нету, — развел он руками. — Давно уж нету. Он у меня ездовым был. Его взяли на передний край. Как же, помню. Еще из Больших Мельниц забрали.

— Так вы говорите, фамилия его Еремин?

— Еремин.

У меня отлегло от сердца. Очевидно, я все-таки ошибся. В самом деле, почему мне пришло в голову, что этот мрачный человек не кто иной, как наш Лопатин? Ну и что же, что они чем-то похожи друг на друга? Мало ли похожих людей на свете? Да и как Лопатин мог попасть к Толоконникову?

Вечером, перед отъездом, я зашел на танцы. Майор провожал меня. Большая комната, слабо освещенная подвешенной к потолку, неистово чадящей коптилкой, была полна народу. Люди сидели вдоль стен на лавках, толпились возле дверей, шумели, смеялись, а посреди комнаты, толкаясь и мешая друг другу, тесно танцевали пары. В шуме и топоте ног нельзя было даже понять, какой танец играет музыкант на своей старенькой, доживающей век гармони, и когда она переставала взвизги-

вать и всхлипывать, то пары, что были вдалеке от нее, еще долго топтались без музыки. В комнате было накурено, душно, и когда дверь открывалась, пламя коптилки ложилось набок, тянулось к двери, словно готово было оторваться и вылететь желтым трепещущим дымным лепестком из этой духоты на свежий осенний воздух темных сеней.

Шоферы угадывались сразу: с фуражки до сапог были пропитаны бензином. Но кроме них, тут находились старшины и сержанты в ладно подогнанном обмундировании, с офицерскими полевыми сумками через плечо, судя по их беспечному и независимому виду — писари, кладовщики, экспедиторы. Было несколько младших офицеров.

— А вы, — спросил я Толоконникова, когда мы вышли на улицу, — не пробовали интересоваться людьми, навещающими вас?

— Нет, капитан, — простодушно сознался он. — Я во всем полагаюсь на коменданта. Впрочем, может быть, и стоит на всякий случай, время от времени, а?

— Вот именно, на всякий случай, — сказал я, прощаясь с ним и садясь в повозку. — Рекомендую.

— Заезжайте! — крикнул он, когда мы уже тронулись.

В эту минуту у меня возникло желание прийти сюда как-нибудь неожиданно вечером с усиленным нарядом и самому проверить у всех документы. По дороге я отдался воображению, очень живо представил себе, как ошеломит всех наш неожиданный приход и как я буду стоять в дверях со строгим, неподкупным лицом и по одному пропускать мимо себя всех, кто там находится, и, конечно же, майор Толоконников будет восхищен моими решительными действиями.

Приехав на заставу, я поделился своими мыслями с Бардиным, но, к великому моему огорчению, они не вызвали у него ожидаемого мною восторга.

— Нет, — Бардин словно давно уже знал о том, что я придумал. — Делать этого сейчас не стоит. Ограничимся пока обычными нарядами. Всему свое время. Дайте мне

пока разобраться и сопоставить кое-какие любопытные факты.

Я, конечно, мог бы не послушаться и сделать все по-своему, начальником был ведь не он, а я, но волна моего деятельного пыла уже разбилась о холодную скалу его равнодушия, отхлынула, и я махнул на все рукой. Тем более, что я еще продолжал полагаться во всем на его опыт.

«Ладно, — подумал я. — Пусть сопоставляет свои любопытные факты».

XIII

Уже несколько раз выпадал снег и тут же таял. От этого на земле было еще печальнее и тоскливее. Ветер с удручающей пронзительностью сипло и надоедливо свистел в голых ветвях деревьев.

Движение по дороге через местечко заметно усилилось: к фронту подтягивались свежие силы, шли обозы, колонны автомашин. Участились налеты на местечко фашистской авиации. Бомбили в основном дамбу и дорогу вдоль озера, и как раз тогда, когда передвигались войска.

Бомбы падали в озеро, вздымая фонтаны мутной воды, она выплескивалась на дамбу, которую уже несколько раз ремонтировали, засыпали свежей землей воронки, стаскивали в озеро разбитые грузовики, уносили раненых, хоронили убитых, пристреливали бьющихся в предсмертных судорогах покалеченных лошадей.

Мне было приказано усилить наряды и принять меры к поиску неизвестной радиостанции, которая опять, как предполагалось, работает где-то на моем участке.

Бардин ходил мрачный. У меня на душе тоже скребли кошки. Было досадно до отчаяния, что враг безнаказанно живет среди нас, мы его не можем найти, а из-за этого на дамбе гибнут люди, уничтожаются ценности.

Враг, кажется, был опытный и дерзкий, вел себя свободно и ничуть нас не боялся.

В районе действия заставы было восемь небольших

местечек и масса хуторов, разделенных межами и перелесками. Нам не стоило никакого труда прочесать эти перелески вдоль и поперек. В них мы не обнаружили ни души, кроме двух крестьян, собиравших хворост, которых после проверки на заставе тут же отпустили восвояси. Устроили мы обыски и на хуторах. Осмотрели сараи, чердаки, погреба. Хуторяне клялись святой мадонной, что никого из посторонних у них нет и не бывает, если не считать останавливающихся изредка на ночевку проезжающих на фронт солдат и офицеров.

В местечках квартировали воинские подразделения, к тому же отстояли эти местечки, кроме М., довольно далеко от шоссе и из них даже не было видно, двигаются ли по этой дороге войска.

Оставалось лишь М.

Майор Толоконников, перепуганный бомбежками еще в Больших Мельницах, был крайне огорчен и обеспокоен участившимися налетами. Встретив меня, он рассказал, что уже подумывает о передислокации. Задерживает его лишь озеро: окрест нигде не найти такого удобного места для размещения банно-прачечного отряда.

— У меня чисто водоплавающее подразделение, — жаловался майор. — Я уже обозревал окрестности, ездил всюду и ничего не нашел. Не посоветуете ли, что мне делать? Чует мое сердце, разбомбят они меня здесь окончательно.

Нигде поблизости подходящего места для него не было. Посоветовать ему я ничего не мог.

XIV

— Так вот какое, стало быть, дело, — сказал Бардин. — Давайте, капитан, пораскинем мозгами. Везде мы с вами искали эту рацию, нигде не нашли и только в М. ничего не тронули пока.

— Я предлагал, — обиженно напомнил я ему.

— Тогда рано было.

Он помолчал, прошелся по комнате.

— Что же у нас в М.? — продолжал он. — Там расположена комендатура, банно-прачечный отряд, питательный пункт, отделение регулировщиков. Гражданского населения нет, все дома заняты нашими подразделениями, и все же, если допустить, что вражеская радиостанция находится на нашем участке, я повторяю — если допустить, — то она должна находиться только в М. Коменданта и его людей мы оставим в покое. Питательный пункт тоже. Он находится в ведении коменданта. Регулировщики недавно сменились, рацию засекли за две недели до их смены, значит, они тоже не в счет. Остается...

— Вы хотите сказать, банно-прачечный отряд? — перебил я его.

— Да, именно это я и хочу сказать.

— Чепуха, — засмеялся я. — Толоконников знает всех своих людей.

Бардин внимательно, осуждающе посмотрел на меня, прошелся по комнате, снова остановился передо мною, но уже с таким выражением на лице, словно меня здесь не было и он один прислушивается к своим мыслям. Так для музыканта, настраивающего скрипку, слушающего ее струны, ничего в ту минуту не существует вокруг.

Постояв так, решительно тряхнув головой, Бардин сказал:

— Да. Это может быть только в банно-прачечном отряде. Я долго думал над этим и мне кажется, что и танцы устраиваются там неслучайно и неслучайно майор Толоконников поощряет их. На танцах, как вы заметили, бывает много заезжих людей. Это очень хорошее место для сбора различных сведений.

— Как! — вырвалось у меня. — Вы полагаете, что сам майор Толоконников занимается этим?

— Я пока еще только предполагаю, — мягко прервал он меня. — Но поживем — увидим. — Бардин вновь прошелся по комнате. — И вот еще какое совпадение засело мне в голову: когда мы были в районе Суворино — Малая Гута — Большие Мельницы, там, как известно, тоже работала чья-то радиостанция.

— Какое отношение имеет это к Толоконникову?

— Пока, предположим, никакого, это вы правы. Но не кажется ли вам странным, что стоило только банно-прачечному отряду прибыть в М., как мы вновь услышали рацию и, по-моему, возможно — понимаете: возможно? — ту же самую. Вот почему я просил вас тогда не пугать пока никого там своими нарядами.

Признаться, от таких догадок Бардина мне стало не по себе.

— Если это так, — продолжал Бардин, словно отгадав мои мысли, — то мы имеем дело с очень опытным и крупным противником. Скажите, вы с ним говорили когда-нибудь насчет рации?

— Насколько помню, разговора об этом не было.

— Хорошо. Еще хорошо и то, что я с ним ни разу не виделся, а вас он считает человеком, так сказать... — Бардин с некоторым сожалением поглядел на меня. Очевидно, решив пощадить мое самолюбие и не говорить откровенно, что я значу «так сказать», он лишь улыбнулся. — Ну, своим другом, приятелем, что ли. В общем так, — продолжал он, погасив на лице улыбку. — Я займусь теперь банно-прачечным отрядом вплотную и перееду на несколько дней в М. Мне будет нужен еще один человек. Кто из нашей заставы ни разу не был в банно-прачечном отряде? Есть такие?

Мы взяли книгу нарядов и проверили ее за весь год. В районе Больших Мельниц, а теперь в М. не были только трое: Лисицын, повар Березкин и Грибов.

— Ну, старшина мне для этого дела староват, — сказал Бардин. — Хороши были бы Фомушкин и Пономаренко, но их там знают, как облупленных. Повар тоже отпадает. Какой из него ухажер, из лысого и пузатого. А вот Грибов, пожалуй, подойдет. Мужчина обстоятельный. Девки таких любят.

Послали за Грибовым.

Бардин поделился со мной своими планами. Он переезжает жить в М. и регистрируется у коменданта как представитель продовольственно-фуражного снабжения

одной из дивизий переднего края, приехавший в М. по заготовке сена. Грибов, его помощник, должен будет завязать знакомство с прачками, танцевать с ними, крутить амуры. У того, кто руководит рацией, непременно должны быть помощники, сборщики сведений. Вот этих-то помощниц или одну из них и надлежит разыскать Грибову. А Бардин возьмет под свое наблюдение самого Толоконникова. Связь с заставой будет поддерживаться через Грибова.

Продолжая сомневаться в правильности того, что задумал Бардин, я все же чувствовал, что в его простых, несложных заключениях есть доля той правды, до которой сам я, вероятно, так никогда и не смогу добраться. Неужели я действительно слишком доверчив к людям, а надо все время быть начеку, говорить подчас одно, а делать другое? Неужели я не прав вообще в жизни, что иду к людям с открытой душой, говорю с ними обо всем, что радует, тревожит или волнует меня, не думая, что они относятся ко мне совсем иначе, что они лишь показывают, что откровенны со мной, а на самом деле скрывают от меня свои настоящие чувства? Но можно ли думать, что Иван Пономаренко, Лисицын, Лемешко, Макаров были когда-нибудь неоткровенны со мной? Можно ли думать, что Бардин, Фомушкин, Назиров, Грибов думают совсем не то, что высказывают мне? Однако тот деревенский парень, враг, которого я чуть было не отпустил, Чувашов-Тарасов, перед которым мне было стыдно, что мы его держим в камере предварительного заключения, вели себя со мной совсем иначе, обманывали. Стало быть, все дело заключается в том, чтобы научиться узнавать людей, уметь относиться к ним по их достоинству и уж не со всеми быть откровенным и открытым. Но как мне научиться этому? Неужели я так никогда и не сумею распознавать людей, их характеры, чувства, мысли? Не напрасно ли я согласился пойти в эти войска, где нужны совсем не такие, как я, а такие, как Бардин? Нет, кажется, не напрасно. Это еще одна проверка. Неужели

Толоконников, добрый, слабовольный старик, которому я с радостью пожимал руку, которому сочувствовал, которого жалел, может оказаться не другом мне, а врагом?

— Разрешите войти? — послышался за дверью голос Грибова, прервавший мои тревожные думы.

«Вот, — сказал я себе, с грустью глядя на Грибова.— У него все ясно, все просто, он умеет распознавать людей, разбираться в их достоинствах, он знает, кого любить, кого ненавидеть».

Горько и обидно мне было сознавать все это.

XV

Прошло немногим больше недели. Все это время от Бардина не было никаких известий. Я высылал в М. обычные наряды, чаще всего парные патрули. Солдаты, возвращаясь, приносили мне приветы от Толоконникова, рассказывали, что видели издалека Грибова или Бардина. Встречаться и разговаривать с ними было запрещено.

Я с нетерпением ждал, когда же, наконец, распутается этот трудный и тревожный для меня узел, я узнаю правду о Толоконникове и прекратятся бомбежки М.

Но Бардин молчал.

Лишь на десятый день у нас на заставе появился Грибов. Он принес записку от Бардина.

«Сегодня в 23.00 будем брать Толоконникова. Выставьте с наступлением темноты секреты около его квартиры, канцелярии, перекройте дороги. Сами будьте в 22.30 у меня».

Прочтя записку, я посмотрел за окно. Уже начинало смеркаться.

— Что же, Толоконников, значит, враг? — спросил я у Грибова, когда мы остались вдвоем.

— Капитан Бардин говорит — враг...

— А вы что думаете?

Он пожал плечами.

— Что вам самому-то удалось установить?

— Да ничего особенного, товарищ капитан. Познакомился я там на танцах сперва с одной, потом с другой, девчата простые, кроме танцев, у них в голове ничего нет. Наработаются за день, придут с озера — и давай каблуками оттопывать. А вот третья, она писарем у них, та совсем другого сорта оказалась. Сперва она ко мне: кто, мол, я да откуда. Ну я ей сразу — бац! — номер дивизии, и где стоит, и сколько к нам пополнения прибыло, и кто командует. Выдумал все, конечно. В общем — представился трепачом. На другой день она ко мне: мол, очень тоскую по брату, он месяц назад проезжал мимо, так рассказывал, что служит в третьей гвардейской. Не на нашем ли он фронте? Ну, я ей говорю, что не знаю, но если такая нужда, то могу спросить у своего капитана, может, ему известно. В общем, сегодня мы ее тоже возьмем.

Было совсем темно, шел мелкий надоедливый дождь, тучи так низко неслись над нами, что это чувствовалось даже в темноте. Холодный ветер, казалось, летел от них вместе с дождем на землю.

Ровно в половине одиннадцатого, стряхнув на пороге брызги с фуражки и кое-как вытерев грязь с сапог, я уже входил в дом, где жили Бардин и Грибов.

Комната освещалась шипящей карбидной лампой, по темным окнам, отражаясь белыми полосами, бежали струи дождя, на столе лежала шахматная доска с расставленными на ней в беспорядке шахматными фигурами. Бардин, взявшись рукою за подбородок, пытливо рассматривал их.

— Промокли? — спросил он, взглянув на меня. — Садитесь.

Бардин посмотрел на часы, подошел к окну. Стоя ко мне спиной, упершись руками в бока и расправляя плечи, сказал:

— Мы с ним каждый день играли в шахматы и каждый раз в начале одиннадцатого он уходил от меня, говоря, что привык рано ложиться спать. А в одиннадцать часов начинала работать рация. Предполагаю, что эта ра-

ция установлена или на его квартире или где-то около канцелярии. Эти два дома хорошо прикрыты нарядами?

Я сказал, что и дом, где живет Толоконников, и канцелярия взяты в кольцо. Выйти оттуда никак нельзя. Между сараем, по крышу забитым тюками сена, и канцелярией патрулирует Каплиев с Индусом.

— А сена-то я ведь тут ни черта не заготовил, — сказал Бардин. — Толоконников все забрал себе раньше меня. Для чего ему столько? Полный сарай. — Помолчав, он проговорил, кивнув на окно: —Обозы идут, — и круто повернулся. — Пошли и мы. Пора.

Выйдя на крыльцо, мы остановились, чтобы дать глазам привыкнуть к кромешной темноте, которая царила в тот час на улице. Дождь все сыпал и сыпал с неба, частый, косой, холодный. По дороге мимо дома, скрипя колесами, тянулись обозы. Рядом с телегами, укрыв плащ-палатками головы и плечи с вещмешками, от чего все они казались горбатыми, брели солдаты. Обозные, сбившись кучками, тихо переговариваясь и покрикивая на лошадей, с чавканьем месивших дорожную грязь, проходили мимо нас, мелькая красными огоньками цигарок.

Когда глаза привыкли к темноте и стали различать силуэты телег, людей, домов на той стороне дороги, мы с Бардиным дождались разрыва в колонне и перешли улицу.

Возле дома, в котором жил Толоконников, навстречу нам неслышно вышел из темноты Фомушкин. Бардин осветил его фонариком.

— Кто дома?

— В течение двух часов сюда никто не приходил.

— А Толоконников? — в голосе Бардина послышались нотки тревоги.

— Никого, товарищ капитан.

— Идемте скорее, — Бардин дернул меня за рукав шинели и почти побежал вдоль улицы.

Около канцелярии банно-прачечного отряда нас встретил Пономаренко.

— Толоконников здесь? — шепотом спросил его Бардин.

— Здесь, — выдохнул Иван. — Як войти в хату, вин прошел пид окнами, за угол глянул и, здается мни, бачил меня, но ничего не казал. А минут десять назад Индус около сарая рычал.

Мы вбежали по ступенькам крыльца, светя фонариком, прошли темные сени и, распахнув дверь, очутились в большой, заставленной столами и освещенной двумя лампами комнате. Писари, расстелив на полу матрацы, собирались спать. Они удивленно поглядели на нас.

— Где майор Толоконников? — спросил Бардин, оглядываясь.

— Вышел минут десять назад, — ответил один из писарей, стоявший перед нами в нижней рубашке и босиком.

— Ушел! — вырвалось у меня.

— Нет, — сказал Бардин, и его спокойный голос поразил меня. — Уйти он не мог. Это маневр — сбить нас с толку. Догонять его мы не будем.

Во дворе мы подозвали Каплиева. Тот сказал, что минут десять назад какой-то человек пытался пробраться в огород, но Индус подал голос, человек метнулся обратно, скрылся в темноте.

— Смотреть внимательнее, — сказал я.

Мы вызвали еще трех человек, усилили охрану канцелярии, а сами вернулись на квартиру Бардина. Девчонка, которую привел туда Грибов, сидела в углу, закрыв лицо ладонями, плакала навзрыд. Ничего путного сказать она не могла. Месяцев семь тому назад Толоконников уличил ее в краже белья и предложил на выбор: или идти под суд, или работать на него — собирать сведения. Она струсила и согласилась помогать ему. Кто еще, кроме нее, занимается этим, она не знала. Ничего не знала она и про радиостанцию.

— Надо искать, — сказал Бардин озабоченно. — Надо искать.

XVI

Как только серенькое осеннее утро с неохотой просочилось сквозь низкие тучи и завесу дождя на землю, мы начали обыск всех жилых и нежилых построек, которые занимал банно-прачечный отряд. На квартире Толоконникова были найдены его документы. Вероятно, он давно уже все заготовил на другое имя.

Я сидел на бревне возле сарая, забитого тюками сена. Иван Пономаренко и Фомушкин только что вылезли оттуда и стояли передо мной, отряхиваясь. Сенная труха забилась им за шиворот, и Иван, поеживаясь, поводя плечами, словно собираясь плясать гопака, смешно морщился.

— Щекотит.

Все мы очень устали, промокли, от бессонной ночи глаза наши были красны, как у кроликов.

Фомушкин развел руками:

— Ничего там нет, товарищ капитан. Сена до самой крыши набито. Я как залез в угол, так насилу обратно выбрался. Иван за ноги тащил.

Подошел Грибов, он только что слез с чердака канцелярии, спросил, что делать.

Сердясь неизвестно на что, я сказал:

— Искать. Всем искать. Осмотреть все второй, третий, пятый раз.

— Есть! — сказал Грибов.

Иван и Фомушкин снова залезли в сарай, и оттуда уже летели в распахнутые двери тюки сена.

— Раз, два, взяли! — командовал Фомушкин. — Еще раз, дружно!

— Идите, ищите, — сказал я.

Фомушкин выбежал из сарая:

— Товарищ капитан, там пусто!

— Что значит пусто? — вскочил я.

— Образовавшееся пространство.

Я кинулся в сарай. Там, среди кип, разворошенных Фомушкиным и Иваном, была пустота, лаз, уходивший в глубь сарая. Фомушкин присел на корточки, заглянул туда, в темноту, шепотом спросил, подняв ко мне усталое, но возбужденное лицо:

— Слазить?

— Приготовьте наган.

Он расстегнул кобуру, вытащил наган, крутнул барабаном и, проворно скинув пояс, шинель, влез на четвереньках в этот сенной коридор.

— Фонарик у вас с собой? — крикнул я.

Он не отозвался, скрылся в темноте.

Прошло несколько минут.

— Шо ж це за дирка? — озадаченно спросил Иван, сидя рядом со мной, и как раз в этот самый момент из темноты лаза показалась чья-то мрачная, испуганная физиономия.

Выбравшись, человек встал на колени и, подслеповато озираясь, поднял над головою руки. Это был тот, кого я видел рядом с Толоконниковым еще в Больших Мельницах.

— Лопатин! — изумленно крикнул я. — Лопатин, сукин ты сын!..

Фомушкин, выбиравшийся следом, толкнул его в спину. От неожиданности Лопатин упал на четвереньки и прополз несколько шагов.

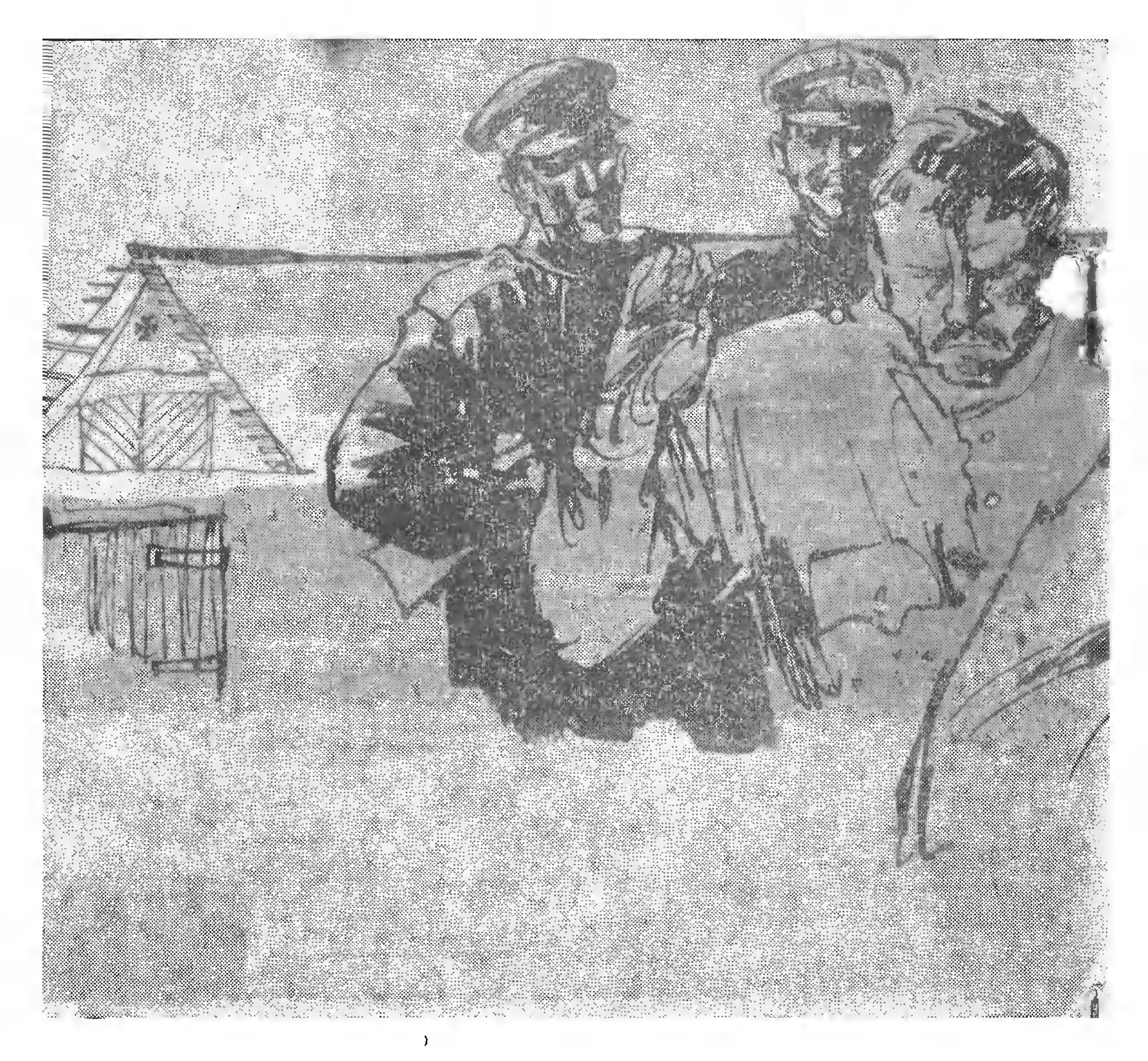
— Встал, понимаешь, в проходе, — ворчал Фомушкин, поднимаясь. — А мне где прикажешь вылезать?

Отряхивая с гимнастерки сенную труху, доложил:

— Там, товарищ капитан, целая комната. Стол, табуретка, постель сделана, ведро с водой. Все честь по чести. Лампочка аккумуляторная горит. И рация там.

Иван, с автоматом в руках, уже говорил с Лопатиным:

— А мы тебя шукали, шукали! От же добре ты заховался. Чи там тебе тепло було́? А скильки ж тебе нимци грошей платили за цю погану роботу? На гроб соби ты скопил, чи ще не хватае трохи?



XVII

От Лопатина мы узнали больше, чем от девчонки.

Прежде всего он сообщил, что Толоконников не кто иной, как Гуго Фандрих.

— Так, — сказал Бардин. — Так. Ясно.

— Как же этот Фандрих мог превратиться в нашего майора? — спросил я.



Бардин с некоторым сожалением поглядел на меня, словно учитель на плохого, туповатого ученика, и сказал:

— Об этом мы узнаем потом, когда возьмем и допросим его. Но для таких, как Фандрих, все средства хороши. Я так думаю, что настоящего Толоконникова давно уже нет в живых и помер он, так мне думается, не без помощи Фандриха или его подручных. А сфабриковать новые фальшивые документы, имея перед глазами под-

линники, не составляет особого труда. Вот так он и оказался, этот ловкач Фандрих, советским майором Толоконниковым. Сознайтесь, что не часто выпадают такие удобные схроны для вражеских резидентов, как банно-прачечные отряды.

...Лопатин продолжал давать показания. В плен он сдался по трусости, боялся, что на фронте его могут убить. Он давно собирался к немцам, еще до того, как попасть к нам, да подходящего случая не было. А тут мы послали его на передний край. Когда начался артобстрел, он кинулся к немецким траншеям. Ему казалось, что стоит перебежать к врагам, как он будет уже вне опасности и война для него кончится. Однако это ему только казалось. На самом деле все было не так. Трус везде останется трусом. В доказательство того, что он добровольно сдался в плен, а не подослан нами, немцы потребовали, чтобы он рассказал, какие части стоят в «Матвеевском яйце». И он передал все, что знал. Поэтому немцы так смело и напали тогда на нас.

Потом он очутился в концлагере. Там уже потребовали, чтобы он, обжившись, сообщил охране лагеря фамилии военнопленных, недовольных лагерными порядками и ведущих коммунистическую пропаганду, в противном случае, сказали ему, военнопленным станет известно, что он сдался добровольно и передал немецкому командованию секретные сведения, и военнопленные сами расправятся с ним. И он, испугавшись, выдал немцам трех человек. Трех ли? Это ведь он так сказал нам — трех!

Из концлагеря его перевезли в Мюнхен, в школу шпионов, и потом сбросили с самолета в районе Больших Мельниц. Вместе с ним в этот день был сброшен еще один человек. Задания у них были разные, в лесу они расстались. Позднее Лопатину с Толоконниковым стало известно, что второй шпион задержан. Арестован и тот, кто шел на встречу с ним, Тарасов, связной Толоконникова. После того как мы неожиданно встретились с Лопатиным в Больших Мельницах, были приняты меры предосторожности: Лопатин редко появлялся на улице. Числился он

действительно ездовым под фамилией Еремина. У Толоконникова он работал на рации. Это они вызывали немецкие самолеты и передавали немцам сведения.

Бардин еще не кончил допрашивать Лопатина, а Грибов уже привел Толоконникова. Он нашел его на чердаке канцелярии спрятавшимся в печной трубе. На чердаках литовских домов сделаны большие каменные раструбы конусами кверху, в которых коптят мясо. Толоконников, когда понял, что все выходы из дома отрезаны, забрался в этот раструб, решив, что его там не найдут.

— У вас есть какие-нибудь вопросы к Толоконникову? — обратился ко мне Бардин.

— Пошел он к чертовой матери, — сказал я. — Смотреть-то на него не хочу, на подлеца.

Бардин вызвал машину и, захватив арестованных, выехал в штаб полка.

...Вот уже много лет прошло с тех пор, а я никак не могу забыть того жестокого урока, который преподнесла мне жизнь. Да, тогда я научился различать людей, они уже не были для меня хороши поголовно все или плохи тоже все; они приобрели каждый свое лицо, свои достоинства и недостатки, они стали разными, не похожими друг на друга, но мне, когда я научился разбираться в людях, стало куда легче искать для себя среди них настоящих друзей.

★

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Михайлович ЗУБАВИН
ОПАЛЕННЫЕ ЗОРИ

Главный редактор *М. СМИРНОВ.*
Редактор *В. ГОЛАНД.*
Художник *Г. НОВОЖИЛОВ.*
Технический редактор *Т. ТУЛЬСКАЯ.*
Корректор *А. ЯНКОВСКАЯ.*

Г-73066 Сдано в набор 5/I-1970 г.
Подписано к печати 13/III-70 г. Формат 70×108/32
Объем 4,5 п. л. (6,3 усл. п. л.) Уч.-изд. л. 7.
Цена 20 коп. Зак. 33.

Типография журнала «Пограничник».

Цена 20 коп.



БИБЛИОТЕЧКА ЖУРНАЛА «ПОГРАНИЧНИК»